

МАСТЕРА ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА



М А С Т Е Р А П О Э Т И Ч Е

**ПОД РЕДАКЦИЕЙ
П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,
М. ЗЕНКЕВИЧА, Н. ЛЮБИМОВА
и Б. СЛУЦКОГО**

ВЫПУСК 5

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

С К О Г О

П Е Р Е В О Д А

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

СТИХИ

ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

В ПЕРЕВОДЕ

**БОРИСА
ПАСТЕРНАКА**

М О С К В А

1 9 6 6

СОСТАВИЛ Е. ЛЕВИТИН
ПРЕДИСЛОВИЕ Н. ЛЮБИМОВА
РЕДАКТОР ВЫПУСКА Б. ШУПЛЕЦОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Искусство — дерзость глазомера,
Влечение, сила и захват.

Борис Пастернак

История русского стихотворного перевода показывает, сколь неравноценны вклады различных поэтов в поэзию оригинальную и переводную. Так, переводы Фета не идут ни в какое сравнение с его оригинальными стихотворениями. Если бы Фет за свою долгую жизнь не перевел ни единой строчки, он все равно остался бы одним из лучших русских поэтов. Иной раз просто диву даешься, как из-под пера тончайшего этого лирика, чуткого к полутонам и оттенкам, выходили такие смехотворно неуклюжие строки, когда он брался за перевод, — Муза словно отлетала от него в эти мгновенья. Пример обратный: Михаил Ларионович Михайлов остался в русской поэзии все-таки главным образом как поэт-переводчик, как неуязвимый сотворец «Двух гренадеров» или «Белого покрывала». Борис Пастернак в равной мере обогатил и оригинальную и переводную нашу поэзию. Теперь уже немислимо себе представить сокровищницу русского художественного перевода без его воссозданий трагедий Шекспира, гётевского «Фауста», стихов Петефи, лирики грузинских поэтов.

Пастернак, нимало не подавляя своей творческой индивидуальности, возродил классические традиции русского

стихотворного перевода. Один из основных своих принципов Пастернак сформулировал как «намеренную свободу, без которой не бывает приближения к большим вещам». Но ведь под этим подписались бы обеими руками лучшие наши поэты-переводчики XIX века! Именно на этом пути их неизменно поджидала удача. На этой почве — почве «намеренной свободы» — возшли «Будрыс и его сыновья» и «Горные вершины», баллады Шиллера и Гёте, к которым подобрал русский музыкальный ключ Жуковский, «Илиада», перевод которой стяжал немеркнущую славу Гнедичу, «Вечерний звон» и «Не бил барабан перед смутным полком...», прославившие Козлова; на этой же благодарной почве возшли гейневское «Страдаешь ты, И молкнет ропот мой...» в переводе Аполлона Григорьева, и «Коринфская невеста» Гёте в переводе Ал. Конст. Толстого, и «Слово о полку Игореве» в переводе Майкова, и русский Беранже, которым мы обязаны бесподобному дарованию Курочкина. На этой почве возшли «Песнь о Гайавате» в переводе Бунина, Бёрнс Багрицкого и Маршака, и на этой же самой почве выросла переводная поэзия Пастернака.

Забываясь об интересах читателя, Пастернак тем самым заботится и об интересах переводимого автора. Однажды в разговоре со мной он обронил такое признание: «Я в своих переводах читателя с горки на саночках прокатил». И в самом деле: переводы Пастернака свободны от невятицы, в них нет ни ребусов, ни загадочных картинок, неизбежно возникающих у переводчиков-буквалистов. И это тоже роднит его с лучшими нашими переводчиками XIX века.

Истинные поэты не могут не ощущать плодотворящей силы народного языка. Для них это живоносный и целебный источник. Для того чтобы произведение словесного искусства в переводе не превратилось в мумию, переводчик не только волен — он должен пользоваться всеми изобразительными

средствами, которыми располагает его родной язык, в частности и в особенности — язык народный. Так именно и поступал Борис Пастернак. Словарь его переводов не менее многослоен, чем язык его поэзии оригинальной. И опять-таки это роднит Пастернака, это ставит его в один ряд с самыми сильными из его предшественников.

Вспомним, на каком фоне появились его книга избранных переводов * и первый его перевод из Шекспира — «Гамлет» (1941). В ту пору были далеко еще не окончательно разгромлены формалистские теориейки художественного перевода. В ту пору даже некоторые одаренные переводчики находились под их мертвящим, под их пагубным воздействием. В ту пору еще имели хождение многочисленные «шексперименты» как на сцене, так и в переводе. Толстенный том избранных сочинений Шекспира, который в 1937 году выпустило издательство «Academia», напоминает тяжкую гробовую плиту, которой переводчики словно пытались изо всех сил придавить вечно живого Шекспира. Чего стоит, например, такой обмен репликами:

Марцелл

Эй! Бернардо!

Бернардо

Что,

Горацио, с тобой?

Горацио

Кусок его!

* Б. Пастернак. Избранные переводы. «Советский писатель», М., 1940.

С Призраком вышеупомянутый «кусок Горацио» ведет беседу в таком духе:

Кто ты, что посягнул на этот час
И этот бранный и прекрасный облик,
В котором мертвый повелитель датчан
Ступал когда-то?

Офелия в этом издании изъясняется таким манером:

Он о своей любви твердил всегда
С отменным вежеством.

Те же злополучные Марцелл и Горацио говорят столь же нечленораздельно, когда от них требуют клятвы:

Горацио

Ей же,
Не стану, принц.

Марцелл

И я не стану, ей же.

Полоний сообщает о Гамлете, что тот «впал... в недо-
еданье... в бессонницу...»

Родриго, умирая, восклицает:

Проклятый Яго! Пес ужасный! О!

Отелло, собираясь убить Дездемону, бормочет нечто совершенно, неудобопонятное не только для зрителя, но и для чи-

тателя, который имеет возможность несколько раз перечитать и вдуматься в неясные строки:

Причина есть, причина есть, душа!
Вам, звезды чистые, не назову,
Но есть причина.

При чтении подобных переводов, устаревших в такой же точно степени, как стихи графа Хвостова, у читателя рождалось законное недоумение: если Шекспир так косноязычен, так плох в оригинале, то почему, собственно, ему такую славу поют? Уж не напускают ли здесь шекспирологи туману?

Русские переводчики Шекспира, подвизавшиеся в прошлом веке, допускали смысловые ошибки (не по небрежению, а оттого, что Шекспир тогда еще не был с такой кропотливой дошностью изучен, как в наши дни), далеко не везде представляли русскому читателю возможность ощутить поэтическую мощь Шекспира (хотя и у Кронберга и у Вейнберга были взлеты и озарения), но все же они имеют то бесспорное и неотъемлемое преимущество перед авторами цитированных мною опусов, что они не насиловали так грубо русский стих И русский язык, что их переводы были по крайности ясны и понятны.

Пастернак доказал русскому читателю, во-первых, что Шекспир — великий поэт, а во-вторых, что Шекспир — великий драматург, что он писал для сцены, так же как впоследствии он доказал, что Гёте не только гениальный мыслитель, о чем мы могли судить и по переводу Холодковского, и по переводу Брюсова, но и гениальный поэт.

Пастернаку и Тихонову в первую очередь, а потом — Заболоцкому мы обязаны тем, что русский читатель так близко

и так крепко подружился с грузинской поэзией. «Первый снег» Леонидзе, «Гнездо ласточки» Чиковани, «Стол — Парнас мой» Яшвили, «Синий цвет» Бараташвили, лирика Тициана Табидзе — все это благодаря Пастернаку стало явлением уже не только грузинской, но и русской поэзии.

Наконец, переводы Пастернака из зарубежной лирики, которые предлагаются вниманию читателя в настоящем сборнике, также представляют собой жемчужины русской поэзии.

Существует мнение, будто Пастернак заслоняет собою переводимых авторов. Но достаточно сопоставить, скажем, его переводы из Петефи и Верлена, чтобы убедиться в несостоятельности подобного суждения, чтобы убедиться в способности Пастернака к перевоплощению. Но подобно тому как великий трагик Леонидов, отнюдь не в ущерб внешней характерности образов, вносил свое, неповторимо леонидовское и в Лопухина, и в Дмитрия Карамазова, и в профессора Бородину из афиногеновского «Страха», так же точно в переводах Пастернака мы различаем пастернаковское начало, но оно, это начало, идет не во вред, а на пользу переводимым авторам.

Поэзия Пастернака славится картинностью изображения, достигающей точным в своей выразительности отбором деталей. И вот это свое искусство он ставит на службу тому поэту, которого он воссоздает на русском языке. Перед нами пейзаж Шекспира и пейзаж Гёте во всей прелести своей будничной характерности:

Когда в сосульках сеновал,
И дуют в руки на дворе,
И Том дрова приносит в зал,
И мерзнет молоко в ведре...

• • • • •

И птицы хохлятся в буран,
И у Марьяны нос багров...

(«Зима»)

Растаял лед, шумят потоки,
Луга зеленеют под лаской тепла.
Зима, размякнув на припеке,
В суровые горы подальше ушла.
Оттуда она крупую мелкой
Забрасывает зеленыя,
Но солнце всю ее побелку
Смывает к середине дня.

(Монолог Фауста)

Поэзия Пастернака любит земной простор, любит окутывать даже отвлеченные предметы земным теплом, любит домашний быт, домашний уют во всех его мелочах, которые у многих его предшественников находились в пренебрежении. И вот если Пастернак обнаружит такие детали у переводимого автора, он ими не погнушается, он все их бережно соберет и покажет читателю:

Пуста дорожка и дощаник рыбака.
Скотина вся в хлевах, на хуторах тоска.
Пред пойлом у корыт,
По стойлам рев стоит,
Артачатся бычки, упрутся и не пьют:
В закутах духота, им хочется на пруд.

Это из стихотворения Петефи «Степь зимой».

Поэзия Пастернака изобилует контрастами, игрой словесной светотени — это одна из отличительных ее особенностей. Кон-

трасты Пастернак не упустит из виду и при переводе, он не преминет их воспроизвести. Так, воспользовавшись прозаизмами, которые ввел Кальдерон в реплики и монологи действующих лиц трагедии «Стойкий принц», Пастернак вводит прозаические обороты речи и в свой перевод, и они, по закону контраста, лишь оттеняют восточную пышность кальдероновских образов:

Пред тобой наполовину
Меркнет роз пурпурный цвет,
И тягаться смысла нет
В белизне с тобой жасмину.

У стихий старинный счет:
К морю сад давно завистлив;
Морем сделаться замыслив,
Раскачал деревьев свод.
С подражательностью рабьей
Перенявши все подряд,
Он, как рябью волн, объят
Листьев ветреною рябью.
Но и море не в накладе:
Видя, как чарует сад,
Море тоже тешит взгляд
Всей расцвеченною гладью.

Без этих «смысла нет» и «не в накладе» было бы уж слишком пышно, слишком «красиво», а Пастернак отчетливо сознавал, что «красиво — уж не красота».

Кое-кого из критиков почему-то напугало слово «передраги» в переводе «Стансов к Августе» Байрона. Но в том-то и дело, что сам Байрон любил прозаизмы, любил ставить их как раз на недозволенные классическими канонами места, так, чтобы

при их столкновении с «поэтизмами» загоралась и скра, — на это указывал еще Гёте. Да и так ли уж «вульгарно» это слово, если и Гоголь, и Тургенев, и Чехов допускали его в авторской речи, и притом без малейшего комического оттенка?

Пастернак-поэт питает особое пристрастие к просторечию. Как переводчик, он тоже дает волю этой стихии в пределах, установленных подлинником.

В переводе «Оды к осени» Шелли мы находим у него «одонья», в «Ученике чародея» Гёте — «бадейку», в «Лютере» Бехера — «баклажки», в «Искусстве поэзии» Верлена — «поварню». А вот начало стихотворения Петефи:

Скинь, пастух, овчину, леший!
Воробьев пугать повешу!
Видишь, налегке, без шубы,
Как реке-резвушке любо!

Это уже разгул крестьянской языковой стихии, на который Пастернака благословляет глубоко народный поэт Петефи.

Народные речения Пастернак включает и в патетику шекспировских героев, и он имеет на это право, ибо шекспировские герои в отличие от героев, скажем, Гюго, даже при вспышке гнева, при вспышке отчаяния, в приливе любви остаются живыми людьми. В жизни патетического «сплошняка» не существует, — это было хорошо известно такому реалисту, как Шекспир, и Пастернак уловил и с радостью подхватил это свойство его героев:

Лир

О Лир, теперь стучись
В ту дверь, откуда выпустил ты разум
И глупость залучил.

Монолог Макдуфа хватает за сердце именно непосредственностью своей интонации:

Всех бедненьких моих? До одного?
О изверг, изверг! Всех моих хороших?
Всех, ты сказал?

Эта глубоко человеческая нота переворачивает душу сильнее самой превыспренней тирады, сильнее дикого рева рвущейся в ключья страсти.

Речь Пастернака-поэта естественна в своем течении, естественна в своем звучании (я говорю здесь, как и везде, об основных стилевых принципах поэта и сбрасываю со счета отдельные случайные отклонения). И что может быть проще, естественней, разговорней таких реплик шекспировских героев:

Леди Макбет

Я кровью, если он кровоточит,
Так слуг раскрашу, чтоб на них сказали.

Мы-то, переводчики, хорошо знаем, что легче воссоздать самую головоломную метафору, чем найти это краткое и простое в своей разговорности: «чтоб на них сказали».

Или:

Брабанцио

Судите сами, как не обвинять?
Шагнуть боялась, скромница, тихоня,
И вдруг, гляди, откуда что взялось!

Или начало шестой сцены четвертого действия «Короля Лира»:

Глостер

Когда же мы взберемся на утес?

Эдгар

Мы всходим. Замечаете, как круто?

Глостер

Я думал, тут равнина.

Эдгар

Нет, обрыв.

Или первая реплика Монтано из второго действия «Отелло»:

Такого ветра просто не запомню.

У нас на укрепленных треск стоит.

Воображаю, в море что творится!

Какие брусья могут устоять,

Когда валы величиною с гору!

Небось, крушений!..

Или из «Ромео и Джульетты»:

Капулетти

...куда вы, господа, так рано?

Вон слуги с прохладительным вдут.

Не можете? Торопитесь? Ну что же,

Благодарю. Прощайте. Добрый путь.

Светите им! А я на боковую.

Ах черт, а ведь и правда поздний час!

Пора в постель.

Или:

Кормилица

Сударыня! Сударыня! Вставай!
Пора вставать! Ай-ай, какая соня!
Ну, погоди! Вот я ее, козу,
Вот я ее! Как, так-таки ни слова?
Да ладно, ладно. Спи, пока дают.

.
Никак одета? Встала, нарядилась —
И снова бух? Уж это извини!
Сударыня! Сударыня! А ну-ка! —
Не может быть... Сюда! Она мертва!
О господи! О господи! На помощь!
Глоток наливки! Не перенесу!

Это живые голоса живых людей, разных по положению, по роду занятий, по душевному складу, голоса разного тембра, голоса, как бы подслушанные в разные моменты их жизни, в разных обстоятельствах поэтом-переводчиком и как бы записанные им на пленку. То, что Ал. Ник. Толстой назвал словесным жестом, обнаруживается здесь с предельной отчетливостью. Актерам не требуется ремарок. Движения, мимика — все явлено в слове.

Пастернак — оригинальный поэт и Пастернак — поэт-переводчик знает цену такой синтаксической фигуре, как эллипсис, усиливающий благодаря пропуску некоторых, а иногда и многих членов предложения разговорную непринужденность, повышающий энергию выражения, убыстряющий течение фразы.

Последнее четверостишие «Первого снега» Леонидзе звучит в переводе Пастернака так:

Бах! Но стая за рекою.
Либо сим те часом вплавь,
Либо силой никакою,
И надеяться оставь.

Эта фраза «неправильна», но она хороша в первую голову своей «неправильностью», ибо когда человек должен принять Мгновенное решение, то он ни вслух, ни про себя не строит упорядоченных силлогизмов, его речь сбивчива в своей лихо-радочной прерывистости.

Прелесть непринужденности, задушевности придает эллипсис и первым строкам «Стансов к Августе»:

Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья.

Пастернак-переводчик, как и поэт оригинальный, и в синтаксисе не менее разнообразен, чем в лексике.

Вот стремительная строфа из «Лютера» Иоганнеса Бехера — стихи здесь бегут бегом вслед за героем:

Он в их кольце. Пропало. Окружили.
И вдруг спасенье. Он прорвал кольцо.
Какой-то лес; лесной тропы развилье;
Какой-то дом; он всходит на крыльцо.

Вот почти такая же стремительная строфа из стихотворения Словацкого «Кулиг»:

Кони, что птицы. В мыле подпруги.
Снежную кромку режут полозья.
В небе ни тучки. В прозрачном круге
Месяц свечою стал на морозе.

Вот монолог Отелло, только что прибывшего на Кипр, спешащего поделиться новостями и узнать, что нового на Кип-

ре, — монолог, состоящий из быстрых, коротких, одна на другую набегających фраз:

Пройдемте в замок. Новости, друзья:
Поход окончен. Турки потонули.
Ну, как на Кипре? Я ведь тут бывал.
Что старые знакомцы, Дездемона?

А там, где того требует подлинник, Пастернак строит стройные и величественные здания периодов, сочетая в себе зодчего и живописца:

И высающиеся обрывы
Над бездной страшной глубины,
И тысячи ручьев, шумливо
Несущиеся с крутизны,
И стройность дерева в дуброве,
И мощь древесного ствола
Одушевляются любовью,
Которая их создала.

(«Фауст», часть вторая)

Во второй строфе стихотворения Петефи «Моя любовь» негноропливое течение периода и плавный ритм дорисовывают образ автора:

Моя любовь не тихий пруд лесной,
Где плещут отраженья лебедей
И, выгибая шеи пред луной,
Проходят вплавь, раскланываясь с ней.

Пастернак — оригинальный поэт обладает редкостной силы темпераментом. Не укрощает он его и в переводах. Помню, как ошеломили меня первые его переводы из Петефи, напечатанные в «Литературной газете». Предо мной предстал совсем

новый поэт. В изображении дореволюционных переводчиков Петефи выглядел унылым и вялым, таким третьесортным Суриковым. И вдруг —

Ну, так разбушуйся, лира!
Выйди вся из берегов.
Пусть струна с струною сцепит
Смех и стон, и плач и лепет,
Спутай жизнь и смерти зов!

Будь, как буря, пред которой
Дубы с корнем — кувырком...

Послушаем хор духов из «Фауста»:

Рухните, своды
Каменной кельи!
С полной свободой
Хлынь через щели,
Голубизна!
В тесные кучи
Сбились вы, тучи.
В ваши разрывы
Смотрит тоскливо
Звезд глубина.

• • • • • • • •

Всюду секреты,
Слезы, обеты,
Взятье, отдача
Жаркой, горячей
Страстной души.
С тою же силой,
Как из давила
Сок винограда

Пенною бурей
Хлещет в чаны,
Так с верхотурья
Горной стремнины
Мощь водопада
Всею громадой
Валит в лощину
На валуны.
Здесь на озерах
Зарослей шорох,
Лес величавый,
Ропот дубравы,
Рек рукава.
Кто поупрямей —
Вверх по обрыву,
Кто — с лебедями
Вплавь по заливу
На острова.
Раннюю ранью
И до захода —
Песни, гулянье
И хороводы,
Небо, трава.
И поцелуи
Напропалую,
И упоенье
Самозабвения,
И синева.

Динамичность глаголов и метафор, энергию которых временами еще усиливает повелительное наклонение (рухните, хлынь, сбились, мчатся, хлещет, валит, пенная буря), и все

та же эллиптическая конструкция придают этому описанию весны особую стремительность, особую широту охвата, способствуют неразрывной цельности восприятия.

Пастернак — признанный мастер звукописи. Таков он и в своих переводах. Как сказал бы Фет, он обладает способностью звуком навеять на душу читателя самые разнородные впечатления. От звукосочетаний, передающих гул и грохот громовых раскатов или ропот морских валов, он без труда переходит к завораживающей, усыпляющей, убаюкивающей инструментовке:

Зашурши, камыш! Мне дорог
Тихий тростниковый шорох.
Тополь, всколыхнись лениво,
Содрогнись листвою, ива,
И тогда я вновь усну.

(Монолог Пеня из «Фауста»)

Пастернак в своей «собственной» поэзии не ломает метрики русского стиха, он — виртуоз ритма. В его «Фаусте», помимо всего прочего, нас поражает наряду с разнообразием рифмовки смена ритмов, призванных передать и торжественный хорал, и залихватскую песню гуляк, и обыкновенную, «среднюю», разговорную речь, и рашное озорство и балагурство.

Пастернак словом, интонацией, ритмом, звуком рисует самые разнообразные характеры, воссоздает всю их сложность. И этот его дар, пожалуй, нигде так полно не раскрывается, как в «Фаусте». Речь Вагнера терминологична, понятийна, безобразна, бесцветна. Рядом с этим словесным гербарием — причудливый сплав речевой характеристики Мефистофеля с его развязно-небрежным тоном циника, поддержанным канцеляризмами и просторечием, с его монологами, в которых зловле-

щий словесный колорит и бешеная раскачка ритма служат одной цели — показать истинное обличье Мефистофеля.

Мир бытия — досадно малый штрих
Среди небытия пространств пустых.

.

Я донимал его землетрясеньем,
Пожарами лесов и наводненьем.
И хоть бы что! Я цели не достиг.
И море в целости и материк.
А люди, звери и порода птичья,
Мори их не мори, им трын-трава.
Плодятся вечно эти существа,
И жизнь всегда имеется в наличии.
Иной, ей-ей, рехнулся бы с тоски!

На курганы лег туман,
Завывает ураган.
Гул и гомон карнавала
Распугал сычей и сов.
Ветер, главный запевала,
Не щадит красы лесов.
И расселины полны
Ворохами бурелома
И обломками сосны,
Как развалинами дома,
Сброшенного с крутизны.
И все ближе, ближе вой,
Улюлюканье и пенье
Страшного столпотворенья,
Мчащегося в отдаленье
На свой шабаш годовой.

Это уже злой дух ликующе распростер крыла в Вальпургиеву ночь.

Не менее широк лексический и ритмический диапазон в речевой характеристике Фауста.

Вот она, эта порывистая, мятущаяся душа, вечно стремящаяся вперед и выше:

Все шире даль, и тянет ветром свежим,
И к новым дням и новым побережьям
Зовет зеркальная морская гладь.
.
О, эта высь, о, это просветленье!

И вот другой Фауст, раздраженный, возмущенный, бунтующий:

«Смирять себя!» Вот мудрость прописная,
Извечный, нескончаемый припев,
Которым с детства прожужжали уши,
Нравоучительною этой сушью
Нам всем до тошноты осточертев.

И вот Фауст, пока еще добродушно ворчащий на пуделя; заключенные в напевный дактиль интонации звучат, однако, по-разговорному живо:

Пудель, уймись и по комнате тесной не бегай!
Полно ворчать и обнюхивать дверь и порог.
Ну-ка — за печку и располагайся к ночлегу.
Право, приятель, на эту подушку бы лег.

А многоголосье народных сцен! А хоры ангелов! А переключка ведьм! А хор полишинелей! А песня нищего! А хор крестьян! А песня солдат!..

Переоценить значение переводов Пастернака для русской переводческой культуры, для русской культуры в целом — невозможно.

Своими переводами Пастернак, Тихонов, Антокольский, Зенкевич, Маршак — поэты-переводчики разных дарований, развивавшихся, между тем, в одном направлении, — нанесли сокрушительной силы удар по антидемократической, антиреалистической, антихудожественной буквалистской школе художественного перевода. Новому поколению поэтов-переводчиков было куда легче идти по проложенным ими следам. Но и для самого Пастернака вживание в Шекспира, в Гёте, в Петефи, в Шевченко, в грузинских лириков оказалось в высшей степени благотворным: оно помогло ему в его оригинальной поэзии, как он сам себе предрек, «впасть в неслыханную простоту». Этой мудрой, совершенной и прекрасной простотой проникнуты стихи его поздней, его лучшей поры.

Н. Любимов

ИЗ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ

Вильям Шекспир

1564—1616

Сонет 66

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живетя богачу,
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывет,
И доброта прислуживает злу.
Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

Сонет 73

То время года видишь ты во мне,
Когда из листьев редко где какой,
Дрожа, желтеет в веток голизне,

Музыка

Лирой заставлял Орфей
Горы с гибкостью ветвей
Наклоняться до земли.

На призыв его игры
Травы из земной коры
Выходили и цвели.

Все, что слышало напев,
Никло ниц, оторопев,
И смирялась моря гладь.

Музыка глушит печаль.
За нее в ответ не жаль,
Засыпая, жизнь отдать.

Уолтер Ралей

1552—1618

Сыну

Три вещи есть, не ведающих горя,
Пока судьба их вместе не свела.
Но некий день их застигает в сборе,
И в этот день им не уйти от зла.
Те вещи: роща, поросль, подросток.
Из леса в бревнах виселиц мосты.
Из конопли веревки для захлесток.
Повеса ж и подросток — это ты.

Заметь, дружок, им врозь не нарезать.
В соку трава, и лес, и сорванец.
Но чуть сойдутся, скрипнет половица,
Струной веревка и юнцу конец.

Помолимся ж с тобой об избежаньи
Участия в их роковом свиданьи.

Джордж Гордон Байрон

1788—1824

Стансы к Августе

Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья.
Не пугают тебя передраги,
И любовью, которой черты
Столько раз доверял я бумаге,
Остаешься мне в жизни лишь ты.

Оттого-то, когда мне в дорогу
Шлет природа улыбку свою,
Я в привете не чаю подлога
И в улыбке тебя узнаю.
Когда ж вихри с пучиной воюют,
Точно души, в изгнании скорбя,
Тем-то волны меня и волнуют,
Что несут меня прочь от тебя.

И хоть рухнула счастья твердыня
И обломки надежды на дне,

Все равно, и в тоске и в уныньи
Не бывать их невольником мне.
Сколько б бед не нашло отовсюду,
Растеряюсь — найдусь через миг,
Истомлюсь — но себя не забуду,
Потому что я твой, а не их.

Ты из смертных, и ты не лукава,
Ты из женщин, но им не чета,
Ты любви не считаешь забавой,
И тебя не страшит клевета.
Ты от слова не ступишь ни шагу,
Ты в отъезде — разлуки как нет,
Ты на страже, но дружбе во благо,
Ты беспечна, но свету во вред.

Я ничуть его низко не ставлю,
Но в борьбе одного против всех
Навлекать на себя его травлю
Так же глупо, как верить в успех.
Слишком поздно узнав ему цену,
Излечился я от слепоты:
Мало даже утраты вселенной,
Если в горе наградою — ты.

Гибель прошлого, все уничтожа,
Кое в чем принесла торжество:
То, что было всего мне дороже,
По заслугам дороже всего.
Есть в пустыне родник, чтоб напиться.
Деревцо есть на лысом горбе,
В одиночестве певчая птица
Целый день мне поет о тебе.

Джон Китс

1795—1821

Из «Эндимиона»

Прекрасное пленяет навсегда.
К нему не остываешь. Никогда
Не впасть ему в ничтожество. Все снова
Нас будет влечь к испытанному крову
С готовым ложем и здоровым сном.
И мы затем цветы в гирлянды вьем,
Чтоб привязаться больше к чернозему
Наперекор томленью и надлому
Высоких душ; унынью вопреки
И дикости, загнавшей в тупики
Исканья наши. Да, назло пороку
Луч красоты в одно мгновенье ока
Сгоняет с сердца тучи. Таковы
Луна и солнце, шелесты листвы,
Гурты овечьи, таковы нарциссы
В густой траве, так под прикрытьем мыса
Ручьи защиты ищут от жары,
И точно так рассыпаны дары
Лесной гвоздики на лесной поляне.

И таковы великие преданья
О славных мертвых первых дней земли,
Что мы детьми слышали иль прочли.

Ода к осени

Пора плодоношенья и дождей!
Ты вместе с солнцем огибаешь мызу,
Советуясь, во сколько штук гроздей
Одеть лозу, обвившую карнизы;
Как яблоками отягченный ствол
У входа к дому опереть на колья,
И вспучить тыкву, и напыжить шейки
Лесных орехов, и как можно доле
Растить последние цветы для пчел,
Чтоб думали, что час их не прошел
И ломится в их клейкие ячейки.

Кто не видал тебя в воротах риг?
Забравшись на задворки экономий,
На сквозняке, раскинув воротник,
Ты, сидя, отдыхаешь на соломе;
Или, лицом упавши наперед
И бросив серп средь маков недожатых,
На полосе хранишь, подобно жнице;
Иль со снопом одоньев от богатых,
Подняв охапку, переходишь брод;
Или тисков подвертываешь гнет
И смотришь, как из яблок сидр сочится.

Где песни дней весенних, где они?
Не вспоминай, твои ничуть не хуже.

Когда зарею облака в тени
И пламенеет жнивий полукружье,
Звеня, роятся мошки у прудов,
Вытягиваясь в воздухе бессонном
То веретенами, то вереницей;
Как вдруг заблеют овцы по загонам;
Засвиристит кузнечик; из садов
Ударит крупной трелью реполов;
И ласточка с чириканьем промчится.

Кузнечик и сверчок

В свой час своя поэзия в природе:
Когда в зените день и жар томит
Притихших птиц, чей голосок звенит
Вдоль изгородей скошенных угодий?
Кузнечик — вот виновник тех мелодий,
Певун и лодырь, потерявший стыд,
Пока и сам, по горло пеньем сыт,
Не свалится последним в хороводе.
В свой час во всем поэзия своя:
Зимой, морозной ночью молчаливой
Пронзительны за печкой переливы
Сверчка во славу теплого жилья.
И, словно летом, кажется сквозь дрему,
Что слышишь треск кузнечика знакомый.

Море

Шепча про вечность, спит оно у шхер,
И вдруг, расколыхавшись, входит в гроты,
И топит их без жалости и счета,

И что-то шепчет, выйдя из пещер.
А то, бывает, тише не в пример,
Оберегает ракушки дремоту
На берегу, куда ее с излету
Последний шквал занес во весь карьер.

Сюда, трудом ослабившие зренья!
Обширность моря даст глазам покой.
И вы, о жертвы жизни городской,
Оглохшие от мелкой дребедени,
Задумайтесь под мерный шум морской,
Пока сирен не различите пеня!

Перси Биши Шелли

1792—1822

Индийская серенада

В сновиденьях о тебе
Прерываю сладость сна,
Мерно дышащая ночь
Звездами озарена.
В грезах о тебе встаю,
И, всецело в их плену,
Как во сне, переношусь
Чудом к твоему окну.

Отзвук голосов плывет
По забывшейся реке.
Запах трав, как мысли вслух,
Носится невдалеке.
Безутешный соловей
Заливается в бреду.
Смертной мукою и я
Постепенно изойду.

Подыми меня с травы.
Я в огне, я тень, я труп.

К ледяным губам прижми
Животворный трепет губ.
Я, как труп, похолодел.
Телом всем прижмись ко мне,
Положи скорей предел
Сердца частой стукотне.

К...

Опошлено слово одно
И стало рутиной.
Над искренностью давно
Смеются в гостинной.
Надежда и самообман —
Два сходных недуга.
Единственный мир без румян —
Участие друга.

Любви я в ответ не прошу,
Но тем беззаветней
По-прежнему произношу
Обет долголетний.
Так бабочку тянет в костер
И полночь к рассвету,
И так заставляя простор
Кружиться планету.

Строки

Разобьется лампада,
Не затеплится луч.
Гаснут радуг аркады

В ясных проблесках туч.
Поломавшейся лютни
Кратковременен шум.
Верность слову минутней
Наших клятв наобум.

Как непрочны созвучья
И пыланье лампад,
Так в сердцах не живучи
Единенье и лад.
Рознь любивших бездонна,
Как у стен маяка
Звон валов похоронный
Над душой моряка.

Минут первые ласки,
И любовь — из гнезда.
Горе жертвам развязки,
Слабый терпит всегда.
Что ж ты плачешь и ноешь,
Что ты, сердце, в тоске?
Не само ли ты строишь
Свой покой на песке?

Ты — добыча блужданий,
Как над глушью болот
Долгой ночью, в тумане,
Птичьей стаи полет.
Будет время, запомни,
На осенней заре
Ты проснешься бездомней
Голых нив в ноябре.

Ода западному ветру

О буйный ветер запада осенний!
Перед тобой толпой бегут листья,
Как перед чародеем привиденья,

То бурей желтизны и красноты,
То пестрым вихрем всех оттенков гнили;
Ты голых пашен черные пласты

Засыпал семенами в изобилие.
Весной трубы пронзительный раскат
Разбудит их, как мертвецов в могиле,

И теплый ветер, твой весенний брат,
Взовет их к жизни дудочкой пастушьей
И новой листвою оденет сад.

О дух морей, носящийся над сушей!
Творец и разрушитель, слушай, слушай!

Ты гонишь тучи, как круговорот
Листвы, не тонущей на водной глади,
Которую ветвистый небосвод

С себя роняет, как при листопаде.
То духи молний, и дожди, и гром.
Ты ставишь им, как пляшущей менаде,

Распущенные волосы торчком
И треплешь пряди бури. Непогода —
Как бы отходный гробовой псалом

Над прахом отбывающего года.
Ты высишь мрак, нависший невдали,
Как камень громоздящегося свода

Над черной усыпальницей земли.
Там дождь, и снег, и град. Внемли, внемли!

Ты в Средиземном море будишь хляби
Под Байями, где меж прибрежных скал
Спит глубина, укачанная рябью,

И отраженный остров задремал,
Топя столбы причалов, и ступени,
И темные сады на дне зеркал.

И, одуряя запахом цветений,
Пучина расступается до дна,
Когда ты в море входишь по колени.

Вся внутренность его тогда видна,
И водорослей и медуз тщедушье
От страха покрывает седина,

Когда над их сосудистою тушей
Твой голос раздается. Слушай, слушай!

Будь я листом, ты шелестел бы мной.
Будь тучей я, ты б нес меня с собою.
Будь я волной, я б рос пред крутизной

Стеною разъяренного прибоя.
О нет, когда б, по-прежнему дитя,
Я уносился в небо голубое

И с тучами гонялся не шутя,
Тогда б, участник твоего веселья,
Я сам, мольбой тебя не тяготя,

Отсюда улетел на самом деле.
Но я сражен. Как тучу и волну
Или листок, сними с песчаной мели

Того, кто тоже рвется в вышину
И горд, как ты, но пойман и в плену.

Дай стать мне лирой, как осенний лес,
И в честь твою ронять свой лист спросонья.
Устрой, чтоб постепенно я исчез

Обрывками разрозненных гармоний.
Суровый дух, позволь мне стать тобой!
Стань мною иль еще неугомонней!

Развей кругом притворный мой покой
И временную мысль мертвечину.
Вздуй, как заклатьем, этою строкой

Золу из непогасшего камина.
Дай до людей мне слово донести,
Как ты заносишь семена в долину.

И сам раскатом трубным возвести:
Пришла Зима, зато Весна в пути!

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

Поль Верлен

1844—1896

Ночное зрелище

Ночь. Дождь. Вдали неясный очерк выбит:
В дождливом небе старый город зыбит
Разводы крыш и башенных зубцов.
На виселице — тени мертвецов,
Без угомону пляшущих чакону,
Когда с налету их клюют вороны,
Меж тем как волки пятки им грызут.
Кой-где терновый куст, и там и тут
На черном небе измороси мгlistой —
Колочие отливы остролиста.
И шествие: три узника по ней
Под пешей стражей в двести бердышей,
Смыкающей еще лишь неизбывней
Железо пик в железной сетке ливня.

Так как брезжит день...

Так как брезжит день, и в близости рассвета,
И в виду надежд, разбитых, было, в прах,
Но сулящих мне, что вновь по их обету
Это счастье будет все в моих руках, —

Навсегда конец печальным размышленьям,
Навсегда — недобрым грезам; навсегда —
Поджиманью губ, насмешкам, и сомненьям,
И всему, чем мысль бездушная горда.

Чтобы кулаков не смела тискать злоба.
Легче на обиды пошлости смотреть.
Чтобы сердце зла не поминало. Чтобы
Не искала грусть в вине забвенья впредь.

Ибо я хочу в тот час, как гость лучистый
Ночь моей души, спустившись, озарил,
Ввериться любви, без умиранья чистой
Именем за ней парящих добрых сил.

Я доверюсь вам, очей моих зарницы,
За тобой пойду, вожатого рука,
Я пойду стезей тернистой ли, случится,
Иль дорога будет мшиста и мягка.

Я пройду по жизни непоколебимо
Прямо за судьбой, куда глаза глядят.
Я ее приму без торга и нажима.
Много будет встреч, и стычек, и засад.

И коль скоро я, чтоб скоротать дорогу,
Песнею-другою спутнице польщу,
А она судья, мне кажется, не строгий,
Я про рай иной и слышать не хочу.

Зелень

Вот листья, и цветы, и плод на ветке спелый,
И сердце, всем биением преданное вам.
Не вздумайте терзать его рукою белой
И окажите честь простым моим дарам.

Я с воли только что и весь покрыт росой,
Оледенившей лоб на утреннем ветру.
Позвольте, я чуть-чуть у ваших ног в покое
О предстоящем счастье мысли соберу.

На грудь вам упаду и голову поную,
Всю в ваших поцелуях, оглушивших слух,
И знаете, пока угомонится буря,
Сосну я, да и вы переведите дух.

Искусство поэзии

За музыку только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.

Не церемонься с языком
И торной не ходи дорожкой.
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.

Так смотрят из-за покрывала,
Так зыблет полдни южный зной.

Так осень небосвод ночной
Вызвеживает как попало.

Всего милее полутон.
Не полный тон, но лишь полтона.
Лишь он венчает по закону
Мечту с мечтою, альт, басон.

Нет ничего острот коварней
И смеха ради шутовства:
Слезами плачет синева
От чесноку такой поварни.

Хребет риторике сверни.
О, если б в бунте против правил
Ты рифмам совести прибавил!
Не т ы , — куда зайдут они?

Кто смерит вред от их подрыва?
Какой глухой или дикарь
Всучил нам побрякушек ларь
И весь их пустозвон фальшивый?

Так музыки же вновь и вновь!
Пускай в твоём стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.

Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря...
Все прочее — литература.

Томление

Я — римский мир периода упадка,
Когда, встречая варваров рои,
Акrostихи слагают в забвении
Уже, как вечер, сдавшего порядка.

Душе со скуки нестерпимо гадко,
А говорят, на рубежах бои.
О не уметь сломить лета свои!
О не хотеть прожечь их без остатка!

О не хотеть, о не уметь уйти!
Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?
Все выпито, все съедено! Ни слова!

Лишь стих смешной, уже в огне почти,
Лишь раб дрянной, уже почти без дела,
Лишь грусть без объяснения и предела.

* * *

Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.

То выглянет бледно
Под тусклой латунию,
То канет бесследно
Во мглу новолунье.

Обрывками дыма
Со стертою гранью

Деревья в тумане
Пронесятся мимо.

То выглянет бледно
Под тусклой латунью,
То канет бесследно
Во мглу новолунье.

Худые вороны
И злые волчицы,
На что вам и льститься
Зимой разъяренной?

Средь необозримо
Уньлой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.

Хандра

И в сердце растрava,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.

Откуда ж кручина
И сердца вдовство?

Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда,
На то и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ

Иоганн Вольфганг Гёте

1749—1832

Миньона

1

Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,
Где пурпур королька прильнул к листу,
Где негой Юга дышит небосклон,
Где дремлет мирт, где лавр заворожен?
Ты там бывал?

Туда, туда,
Возлюбленный, нам скрыться б навсегда.

Ты видел дом? Великолепный фриз
С высот колонн у входа смотрит вниз,
И изваянья задают вопрос:
Кто эту боль, дитя, тебе нанес?
Ты там бывал?

Туда, туда
Уйти б, мой покровитель, навсегда.
Ты с гор на облака у ног взглянул?
Взбирается сквозь них с усилием мул.
Драконы в глубине пещер шипят,
Гремит обвал и плещет водопад.

Ты там бывал?
Туда, туда
Уйти б с тобой, отец мой, навсегда.

2

Сдержись, я тайны не нарушу,
Молчанье в долг мне вменено.
Я всю тебе открыла б душу,
Будь это роком суждено.

Расходится ночная мгла
При виде солнца у порога,
И размыкается скала,
Чтоб дать источнику дорогу.

И есть у любящих предлог
Всю душу изливать в признаньи,
А я молчу, и только бог
Разжать уста мне в состояньи.

3

• • • • •
• • • • •

4

Я покрасуюсь в платье белом,
Покамест сроки не пришли,
Покамест я к другим пределам
Под землю не ушла с земли.

Свою недолгую отсрочку
Я там спокойно пролежу
И сброшу эту оболочку,
Венок и пояс развяжу.

И, встав, глазами мир окину,
Где силам неба все равно,
Ты женщина или мужчина,
Но тело все просветлено.

Беспечно дни мои бежали,
Но оставлял следы их бег.
Теперь, состарясь от печали,
Хочу помолодеть навек.

Арфист

1

Кто одинок, того звезда
Горит особняком.
Все любят жизнь, кому нужна
Общаться с чужаком?
Оставьте боль мучений мне.
С тоской наедине
Я одинок, но не один
В кругу своих кручин.

Как любящий исподтишка
К любимой входит в дом,
Так крадется ко мне тоска

Днем и при свете ночника,
При свете ночника и днем,
На цыпочках, тайком.
И лишь в могиле под землей
Она мне даст покой.

2

Подойду к дверям с котомкой,
Кротко всякий дар приму,
Поблагодарю негромко,
Вскину на плечи суму.
В сердце каждого — заноза
Молчаливый мой приход:
С силой сдерживает слезы
Всякий, кто мне подает.

Вечерняя песня охотника

Брожу я по полю с ружьем,
И светлый образ твой
В воображении моем
Витает предо мной.

А ты, ты видишь ли, скажи,
Порой хоть тень мою,
Когда полями вдоль межи
Спускаешься к ручью?

Хоть тень того, кто скрылся с глаз
И счастьем пренебрег,

В изгнании от тебя мечась
На запад и восток?

Мысль о тебе врачует дух,
Проходит чувств гроза,
Как если долго в лунный круг
Смотреть во все глаза.

Фульский король

Король жил в Фуле дальней
И кубок золотой
Хранил он, дар прощальный
Возлюбленной одной.

Когда он пил из кубка,
Оглядывая зал,
Он вспоминал голубку
И слезы утирал.

И в смертный час тяжелый
Он роздал княжеств тьму
И все, вплоть до престола,
А кубок — никому.

Со свитой в полном сборе
Он у прибрежных скал
В своем дворце у моря
Прощальный пир давал.

И кубок свой червонный,
Осушенный до дна,

Он бросил вниз с балкона,
Где выла глубина.

В тот миг, когда пучиной
Был кубок поглощен,
Пришла ему кончина,
И больше не пил он.

Ученик чародея

Старый знахарь отлучился!
Радуюсь его уходу,
Испытать я власть решился
Над послушною природой.
Я у чародея
Перенял слова
И давно владею
Тайной колдовства.

Брызни, брызни,
Свеж и влажен,
С пользой жизни
Ключ из скважин.
Дай скопить воды нам в чане,
Сколько требуется в бане!

Батрака накинь лохмотья,
Старый веник из мочалы.
Ты сегодня на работе
Отдан под мое начало!
Растопырь-ка ноги,

Дерни головой!
По лесной дороге
Сбегай за водой.

Брызни, брызни,
Свеж и влажен,
С пользой жизни
Ключ из скважин!
Дай скопить воды нам в чане,
Сколько требуется в бане!

Погляди на водоноса!
Воду перелил в лоханки!
И опять в овраг понесся
Расторопнее служанки.
Сбегал уж два раза
С ведрами батрак,
Налил оба таза
И наполнил бак.

Полно! Баста!
Налил всюду.
И не шастай
Больше к пруду!
Как унять готовность эту?
Я забыл слова запрета.

Я забыл слова заклатья
Для возврата прежней стати!
И смеется подлый веник,
Скатываясь со ступенек.
Возвратился скоком

И опять ушел,
И вода потоком
Заливает пол.

Стой, довольно,
Ненавистный!
Или больно
Шею стисну!
Только покосился в злобе,
Взгляд бросая исподлобья.

Погоди, исчадь ада,
Ты ведь эдак дом утопишь!
С лавок льютя водопады,
У порога лужи копишь!
Оборотень-веник,
Охлади свой пыл!
Снова стань, мошенник,
Тем, чем прежде был.

Вот он с новою бадейкой.
Поскорей топор я выну!
Опрокину на скамейку,
Рассеку на половины!
Ударяю смаху,
Палка пополам,
Наконец от страха
Отдых сердцу дам.

Верх печали!
О, несчастье!
С полу встали

Обе части,
И, удвоивши усердье,
Воду носят обе жерди!

С ведрами снуют холопы,
Все кругом водой покрыто!
На защиту от потопа
Входит чародей маститый!
«Вызвал я без знания
Духов к нам во двор
И забыл чуранье,
Как им дать отпор!»

В угол, веник.
Сгиньте, чары.
Ты мой пленник.
Бойся кары!
Духи, лишь колдун умелый
Вызывает вас для дела.

Гретхен за прялкой *

Нет покоя, и смутно,
И сил ни следа,
Мне их не вернуть,
Не вернуть никогда.

Чуть он с порога,
И в груди

* Первоначальный
вариант перевода.

Жуть и тревога,
Хоть в гроб клади.

В душе упадок,
В огне голова,
От дум и догадок
Дышу едва.

Нет покоя, и смутно,
И сил ни следа,
Мне их не вернуть,
Не вернуть никогда.

За ним лишь следом
Гляжу в окно.
Все этим бредом
Во мне полно.

Его походкой,
Высоким лбом,
Улыбкой кроткой,
Глазами, ртом,

Уменьем чаруя
Вести разговор,
Огнем поцелуя
И взглядом в упор.

Нет покоя, и смутно,
И сил ни следа,
Мне их не вернуть,
Не вернуть никогда.

В порыве муки
Настичь, догнать,
Схватить бы в руки
И не пускать,

И с ним предаться
Безумствам власть,
И не бояться
За них пропасть.

Иоганнес Р. Бехер

1891—1958

Лес

Я темный лес, я мрак и сырость леса,
Я темный лес, куда ходить не надо,
Тюрьма, где в диких завываньях мессы
Я проклял бога, как исчадь ада.

Я темный лес, я затхлой чаши вздох,
Ворвитесь с криком в тьму мою, пропащие!
Я ваши черепа сложу на мягкий мох
В глубь тинистых прудов моих, пропащие!

Я лес, как гроб, укутанный в лоскутья —
Ветвей свихнувшихся нелеп нередко вид.
Господь погиб, не справясь с темной жутью.
Я тот фитиль, что сыр и не горит.

Ты слышишь ли болот заплесневелый стук?
Оскалясь, зорю бьет на черепках гремушка,
Над жидкой топью всплыв, гудит навозный жук
С огромной вилкою на роговой макушке.

Смотрите ж, берегитесь, я предам!
Земля расступится под вами, я заткну
Ветвистой сеткой вас, раздастся гам
Грозы, подобной взрыву и щелчку!

Но ты — равнина с развевающейся гривой,
Порывом мглы зачесанной назад,
Ты — тучами окаченная нива,
На чьих глазах слезами стынет град.

Я лес, что улыбается, едва
Его коснется веянье твое,
Тогда на горле слабнет бичева
И по берлогам прячется зверье.

Резвятся птицы, мертвецы поют
В цветном пожаре солнечных полос,
Сквозь корку соки горькие текут,
И ночь околеваает, старый пес.

Но ты — равнина... На твоём затылке
Луны венчающей качается лимон.
Ты ангел с сочным снадобьем в бутылке,
Подходишь — и бродяга усыплен.

Я темный лес. Ключи кипят и скачут,
Биясь, шепчась с травой, как змеи шустры.
Они язык то высунут, то спрячут,
А выше — звезд беснуемая люстра.

Я темный лес. Взлетают с треском страны.
Моих пожаров адские огни

Колелют жидкий камень океана,
В суставе горный надломив ледник.

Я лес, что к ночи, сдвинувшись к земле,
Распространяет горький дух кругом,
Пока нарвется на закат вдали,
Что тушит жар, накрыв меня платком.

Лютер

I

Монах шагнул на паперть и прибил
Лист тезисов к церковному portalу.
Был день торговый. Гуще люд ходил.
Подняв глаза, толпа листок читала.

О торге отпущеньями, грехе
Лжеверия, налогов непосильи
Открыто было сказано в листке
То самое, что дома говорили.

С соборной колокольни лился звон,
И улицы захлебывались в гаме.
Монах стоял, как будто пригвожден,
Стоял, как будто в землю врос ногами.

Он пел, не отвлекаемый ничем,
Что время возвещенное настало,
Когда вино и хлеб разделят всем,
И был мятеж в звучании хорала.

II

Из Виттенберга слух разнесся вширь:
«Исполнился предел терпенья божья,
По зову свыше, кинув монастырь,
Монах пришел на поединок с ложью.

Мы все равны пред богом, учит он,
Грехам и отпущенье не отмена.
И только лицемерье, не закон,
Царит во всей Империи Священной.

Вкруг бога понаставили святых,
Он, как в плену, в их мертвом частоколе.
Ему живых не видно из-за них,
И все идет не по господней воле.

Нам надобно осилить их синклит
И высвободить бога из темницы.
Тогда-то он, поруганный, отмстит
И на неправду с нами ополчится».

III

По княжествам летели эстафеты
С известием, что заключен союз
В защиту слова божья от извета.
Всяк это слышал и мотал на ус.

Молва передавалась все свободней,
Когда, с амвонов грянув невзначай,

Дорогою к пришествию господню
Легла чрез весь немецкий бедный край.

IV

На сейме в Вормсе, вызванный повесткой,
Терялся малой точечкой монах
Средь облаченья пышного и блеска
Стальных кольчуг, и панцирей, и шпор.

Он был в дешевой рясе с капюшоном,
Веревкой стянут вместо пояска,
И неся к небу взглядом отрешенным
За расписные балки потолка.

Он был один среди пекла преисподней.
Ее владыка, сидя невдали,
Смотрел на жертву с вождельнем сводни,
И слюнки у страшилища текли.

Их покрывал своим примером папа,
И, в мыслях соприсутствуя в гурьбе,
Из царств земных своею жадной лапой
Выкраивал небесное себе.

А чином ниже пенились баклажки,
И, вытянувши руки за ковшом,
На монастырских муравах монашки
Со служками валялись нагишом.

Монах привстал. Кровь бросилась в лицо,
Он выпрямился. Он в воображеньи

Увидел палача и колесо
И услышал своих костей хрустенье.

«Как веруешь? Зачем плодишь раздор?» —
Воскликнул император пред рядами,
А эхо раскатило: «На костер!» —
И в сотне глаз запылало пламя.

Монах не дрогнул. Выпрямивши стан,
Он ощутил опору и подмогу
В страданиях бедных горемык-крестьян,
В долготерпеньи братии убогой.

И, победив насмешливый прием,
Как пристыдить не чаял никогда б их,
Поведал он о господе своем,
О боге бедных, брошенных и слабых.

На золотую навалясь скамью,
Сидела туша с головой свинаяй.
Монах вскричал: «На этом я стою
И, бог судья мне, не могу иначе!»

V

Совет держали хитрые князья:
«К рукам давайте приберем монаха.
Великий крик и так от мужичья.
Оступись — не оберешься страху.

Сдружимся с ним, чувствительно польстим
И до себя, как равного, возвысим.

Чего приказом не добыть простым,
Добиться можно угождением лисьим.

Дадим вероучителю приют,
И примем веру, и введем ученье.
Сильнейшие со временем сдают
В тенетах славы, роскоши и лени».

VI

Засев на башне Вартбургской, монах
Переводил Священное писанье.
Он в битву шел и бой давал в словах,
Внушительных, как войска нарастанье.

Князья толклись в прихожей вечерком,
Приема дожидаясь, точно счастья.
Чтоб завладеть полней бунтовщиком,
Впадала знать пред ним в подобострастье.

Подняв потир и таинство творя,
Он причащал упавших на колени,
И хором все клялись у алтаря
Стоять горой за новое ученье.

Но как ни веселился мир Христов,
Как ни трезвонили напропалую,
Как ни распугивали папских сов,
Не мог монах пристать к их аллилуйе.

Его тревожил чых-то глаз упрек,
Оглядывавших стол его рабочий.

Он тер глаза. Он отводил их вбок.
Он прочь смотрел. Он не смотрел в те очи.

VII

Тут поднялись крестьяне. Лес бород,
Густая чаща вил, и кос, и кольев.
«Все повернул монах наоборот,
Себя опутать по рукам позволив.

Все вывернул навыворот монах,
Набравшийся от нас мужичьей силы.
Его раздуло на чужих хлебах,
А лесть и слава голову вскружили.

Он чашу нашей крови, пустосвят,
Протягивает барам для причастья!
А чаша-то без малого в обхват!
А крови в ней — ушаты, то-то страсти!»

VIII

Он уши затыкал, но слышал рев
И в промежутках — пение петушье:
«Теперь ты наш до самых потрохов,
Иди на суд и обвиненье слушай.

Петух я красный. Петя-петушок.
Я искрою сажусь на крыши княжьи.
Я мстить привык поджогом за подлог.
И углем выжигаю козни вражьи.

Я меч возмездья, я возмездья меч,
Я речь улик, что к сердцу путь находит.
Я тот язык, кого немая речь
Тебя на воду свежую выводит.

Я меч возмездья и его пожар.
Гляди, гляди, как я машу крылами.
Гляди, гляди, как меток мой удар.
Я мести меч и воздаянья пламя.

Князья умрут, и ты не устоишь,
И поколение сменит поколение, —
Я буду жить и сыпать искры с крыш,
Единственный бессмертный в вашей смене.

Я как народ. Я кость его и хрящ,
И плоть его, и доля, и недоля.
Я как народ, а он непреходящ.
Доколе жив он, жив и я дотоле».

Монах бледнел, преодолая страх.
Кричал петух, и меч огнем светился.
Чуть стоя на ногах, он сделал шаг
И вдруг на лобном месте очутился.

IX

Он, как беглец, весь в трепете оглядки,
Чтоб ложный шаг в беду его не вверг.
А сыщики — за ним во все лопатки.
Вот набегут и крикнут: «Руки вверх!»

Он в их кольцо. Пропало. Окружили.
И вдруг спасенье. Он прорвал кольцо.

Какой-то лес; лесной тропы развилье;
Какой-то дом; он всходит на крыльцо.

Как прячутся во сне под одеяло,
Так, крадучись, с крыльца он входит в дом.
И вдруг — ни стен, ни дома, ни привала,
Лишь лес, да вслед бегут, и он бегом.

Так мечется, склонясь к доске конторки,
Монах с чернильницею в пятерне.
Вдруг склянка скок — и на стену каморки,
И страшен знак чернильный на стене.

Тогда он в крик: «Светлейшие, пощады!
Сиятельные, не моя вина,
Что, бедняков и слабых сбивши в стадо,
Их против вас бунтует сатана.

Какой-то Мюнцер в проповедь разгрома
Вплетает наше имя без стыда.
Прошу припомнить: ни к чему такому
Я никогда не звал вас, господа.

В его тысячелетнем вольном штате
Ни старины, ни нравов не щадят.
Там грех не в грех и все равны и братья —
Огнем их проучите за разврат.

Их надо бить и жечь без сожаленья,
Дерите смело кожу с них живьем.
Я всем вам обещаю отпущенье,
И бог вас вспомнит в царствии своем».

X

Повешенным в немецком бедном крае
Терялся счет, хоть подпирай забор.
Руками и коленками болтая,
Они до гор бросали мертвый взор.

Тела вертелись. Ветер так и смяк
Повертывал их. Появлялись лица
И вдруг скрывались; так вдали маяк
То скроется во мгле, то загорится.

У многих рот был до ушей разинут
И вырван был иль вырезан язык,
И из щелей, откуда он был вынут,
Торчал немой, но глазу ясный крик.

XI

Счастливец кучка прорвала кордон,
Где их, как бешеных собак, кончали,
И, напевая песню тех времен —
«Головушку», — брела домой в печали.

Один из них направил в город путь.
Он знамя нес, крестьянский стяг истлелый.
Сорвав с шеста, он обмотал им грудь,
Он пел и пел, прижав обрывок к телу.

Он пел: «Наш флаг, в сердцах людей гори!
Зови народ на бой и стань преддверьем

Иных времен, счастливой той поры,
Когда мы лишь в одних себя поверим».

XII

Он заработок в городе нашел,
Подручным в кузню поступив к кому-то.
У кузнеца был добрый кров и стол,
И знамя не осталось без приюта.

Георг Гейм

1887—1912

Призрак войны

Пробудился тот, что непробудно спал.
Пробудясь, оставил сводчатый подвал.
Вышел вон и стал, громадный, вдалеке,
Заволокся дымом, месяц сжал в руке.

Городскую рябь вечерней суеты
Охватила тень нездешней темноты.
Пенившийся рынок застывает льдом.
Все стихает. Жутко. Ни души кругом.

Кто-то ходит, веет в лица из-за плеч.
Кто там? Нет ответа. Замирает речь.
Дребезжа сочится колокольный звон.
У бород дрожащих кончик заострен.

И в горах уж призрак, и, пустившись в пляс,
Он зовет: бойцы, потеха началась!
И гремучей связкой черепов обвит,
С гулом с гор он эти цепи волочит.

Горною подошвой затоптав закат,
Смотрит вниз: из крови камыши торчат,
К берегу прибитым трупам нет числа,
Птиц без сметы смерть наслала на тела.

Он спускает в поле огненного пса.
Лясканьем и лаем полнятся леса,
Дико скачут тени, на свету снуя,
Отблеск лавы лижет, гложет их края.

В колпаках вулканов мечется без сна
Поднятая с долу до свету страна.
Все, чем, обезумев, улицы кишат,
Он за вал выводит, в этих зарев ад.

В желтом дыме город бел как полотно,
Миг, глядевшись в пропасть, бросился на дно.
Но стоит у срыва, разрывая дым,
Тот, что машет небу факелом своим.

И в сверканьи молний, в перемигах туч,
Под клыками с корнем вывернутых круч,
Пепеля поляны на версту вокруг,
На Гоморру серу шлет из щедрых рук.

Франц Верфель

1890—1945

Читателю

Тебе родным быть, человек, моя мечта!
Кто б ни был ты — младенец, негр иль акробат,
Служанки ль песнь, на звезды ли с плота
Глядящий сплавщик, летчик иль солдат.

Играл ли в детстве ты ружьем с зеленой
Тесьмой и пробкой? Портился ль курок?
Когда, в воспоминанье погруженный,
Пою я, плачь, как я, не будь жесток!

Я судьбы всех познал. Я сознаю,
Что чувствуют арфистки на эстраде,
И бонны, въехав в чуждую семью,
И дебютанты, на суфлера глядя.

Жил я в лесу, в конторщиках служил,
На полустанке продавал билеты,
Топил котлы, чернорабочим был
И горсть отбросов получал за это.

Я — твой, я — всех, воистину мы братья!
Так не сопротивляйся ж мне на зло!
О, если б раз случиться так могло,
Что мы друг другу б бросились в объятия!

Якоб ван Ходдис

1884—1950

Небесная змея

Жарки дни, и ночи глухи.
В окнах тени, точно духи,
И порочны
Их движенья.
Налету
Пышут водкой
В темноту
Лица привидений.

«К тверди ринемся туманной,
Обманув ее охрану.
Месяц скроется из виду,
Звезды не дадут в обиду.
Свет ли то или потемки?
Песнь, мольба иль спор негромкий?
Во дворце ль мы, в хате ль тесной?
Тише, мы в стране чудесной».

Пропать войск идет походом,
Стройно в небе маршируя.

Тьма друзей от них по сводам
Убегает врассыпную.
Мысль чумает от вопросов.
Нынче их не разрешат.
Марш, рехнувшийся философ,
Под ушат!

ИЗ АВСТРИЙСКИХ ПОЭТОВ

Райнер Мариа Рильке

1875—1926

За книгой

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.

Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.

Как нитки ожерелья, строки рвутся
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.

А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,

И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота цена при этом.

И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и в пору сердцу моему!

Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
А крайняя звезда в конце села,
Как свет в последнем домике прихода.

Созерцание

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать среди неожиданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.

Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома.
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем, — малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.

Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника подстать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознании и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

По одной подруге реквием

Я чту умерших и всегда, где мог,
давал им волю и дивился их
уживчивости в мертвых, вопреки

дурной молве. Лишь ты, ты рвешься вспять.
Ты льнешь ко мне, ты вертишься кругом
и норовишь за что-нибудь задеть,
чтоб выдать свой приход. Не отнимай,
что я обрел с трудом. Я прав. Кой прок
в тоске о том, что трогало? Оно
претворено тобой; его здесь нет.
Мы всё, как свет, отбрасываем внутрь
из бытия, когда мы познаем.

Я думал, ты зрелей. Я поражен,
что это бродишь ты, отдавши жизнь
на большее, чем женщине дано.
Что нас сразил испугом твой конец,
и оглушил, и, прерывая, лег
зияньем меж текущим и былым,
так это наше дело. Эту часть
наладим мы. Но то, что ты сама
перепугалась, и еще сейчас
в испуге, где испуг утратил смысл,
что ты теряешь вечности кусок
на вылазки сюда, мой друг, где всё —
в зачатке; что впервые пред лицом
вселенной, растерявшись, ты не вдруг
вникаешь в новость бесконечных свойств,
как тут во всё; что из таких кругов
тяжелый гнет каких-то беспокойств
тебя магнитом стаскивает вниз
к отсчитанным часам: вот что, как вор,
меня неожиданно будит по ночам.
Добро бы мысль, что ты благоволишь
к нам жаловать от милости избытка

и до того уверена в себе,
что, как ребенок, бродишь, не чураясь
опасных мест, где могут сделать вред.
Но нет. Ты просишь. Это так ужасно,
что, как пила, вонзается мне в кость.
Упрек, которым, ночью мне привидясь,
ты шаг за шагом стала бы, грозя,
теснить меня из легких в глубь брюшины,
отсюда — в сердца крайню нору,
упрек подобный не был бы жесточе
такой мольбы. О чем же просишь ты?

Скажи, не съездить мне куда? Быть может,
ты что забыла где, и эта вещь
тоскует по тебе? Не край ли это,
тобой не посещенный, но всю жизнь
родной тебе, как чувств твоих двойчатка?

Я похожу по рекам, спрошу
о старине, пойду водить беседы
с хозяйками у притолок дверных
и перейму, как те детей сзывают.
Я подгляжу, как там земную даль
облапливают в поле за работой,
и к властелину края на прием
найду пути. Я подкуплю дарами
священников, чтобы меня ввели
в глухой тайник с заветною святыней,
и удалились, и замкнули храм.
А вслед за тем, уже немало зная,
я вволю присмотрюсь к зверям, и часть
повадок их вратет в мои суставы.

Я погощу в зрачках у них и прочь
отпущен буду, сонно, без сужденья.
Я попрошу садовников назвать
сорта цветов и затвержу названья,
чтобы в осколках собственных имен
увезть осадок их благоуханья,
и фруктов накоплю, в которых край
еще раз оживает весь до неба.

К тому же в них ты знала толк, в плодах.
Перед собой их разложив по чашкам,
ты взвешивала красками их груз.
Так ты смотрела на детей и женщин,
любясь, как в плодах, наливом их
наличья. Так же точно ты смотрела
и на себя, как полуголый плод,
вся в зеркало уйдя по созерцанье,
оно ж по росту не влезало внутрь,
и, сторонясь, оно не говорило
о видимом — я емь, но: это есть.
И так нелюбопытно было это
воззренье, что не жаждало тебя:
так чуждо было зависти, так свято.

Таким бы я хотел сберечь твой образ
в глуби зеркальной, прочь ото всего.
Зачем же ты приходишь по-другому?
Зачем клевещешь на себя? Зачем
внушить мне хочешь, что в янтарных бусах
на шее у тебя остался след
той тяжести, которой не бывает
в потустороннем отдыхе картин?

Зачем осанке придаешь обличье
печального предвестья? Что тебя
неволит толковать свое сложенье,
как линии руки, так что и мне
нельзя глядеть, не думая о роке?

Приблизься к свечке. Мне не страшен вид
покойников. Когда они приходят,
то вправе притязать на уголок
у нас в глазах, как прочие предметы.

Поди сюда. Побудем миг в тиши.
Взгляни на розу над моим бьюваром.
Скажи, не так же ль робко рыщет свет
вокруг нее, как вкруг тебя? Ей тоже
не место здесь. Не смешанной со мной
внизу в саду ей лучше б оставаться
или пройти. Теперь же вот как длит
она часы. Что ей мое сознание?

Не содрогнись, коль мысль во мне блеснет.
Понять — мой долг, хотя б он жизни стоил.
Так создан я. Не бойся; дай понять,
зачем ты здесь. Я ослеплен. Я понял.
Я, как слепой, держу твою судьбу
в руках и горю имени не знаю.
Оплачем же, что кто-то взял тебя
из зеркала. Умешь ли ты плакать?
Не можешь. Знаю. Крепость слез давно
ты превратила в крепость наблюдений

и шла к тому, чтоб всякий сок в себе
преобразить в слепое равновесье
кружащего столбами бытия.

Как вдруг почти у цели некий случай
рванул тебя с передовых путей
обратно в мир, где соки вожделяют.
Рванул не всю, сперва урвал кусок,
когда ж он вспух и вырос в вероятьи,
то ты себе понадобилась вся
и принялась, как за разбор постройки,
за кропотливый снос своих надежд,
и срыла грунт и подняла из теплой
подпочвы сердца семена в ростках,
где смерть твоя готовилась ко восходу,
особенная и своя, как жизнь.
Ты стала грызть их. Сладость этих зерен
вязала губы и была нова, —
не разумелась, не входила в виды
той сладости, что мысль твоя несла.

Потужим же. Как нехотя рассталась
с своим раздольем кровь твоя, когда
ты вдруг отозвала ее обратно.
Как страшно было ей очнуться вновь
за малым кругом тела; как, не веря
своим глазам, вошла она в послед
и тут замялась, утомясь с дороги.
Ты ж силой стала гнать ее вперед,
как к жертвеннику тащат скот убойный,
сердясь, что та не рада очагу,
и преуспела: радуясь и ластясь,

она сдалась. Привыкнувши к другим мерилам, ты почла, что эта сделка не надолго, забыв, что уж и ты во времени, а время ненасытно, и с ним тоска и канитель, и с ним возня, как с ходом затяжной болезни.

Как мало ты жила, когда сравнишь с годами те часы, что ты сидела, клоня, как ветку, будущность свою к зародышу в утробе, — ко вторично начавшейся судьбе. О труд сверх сил! О горькая работа! Дни за днями вставала ты, чуть ноги волоча, и, сев за стан, живой челнок гоняла наперекор основе. И при всем о празднестве еще мечтала. Ибо, как дело было сделано, тебе награды стало жаждаться, как детям в возместку за противное питье, что в пользу им. Так ты и рассчиталась с собою; потому что от других ты слишком далека была и ныне, как раньше, и никто б не мог сказать, чем можно наградить тебя по вкусу. Ты ж знала. Пред кроватью в дни родин стояло зеркало и отражало предметы. Явность их была тобой, все ж прочее — самообманом; милым самообманом женщины, легко до украшений падкой и шиньонов. Так ты и умерла, как в старину

кончались женщины, по старой моде,
в жилом тепле, испытанным концом
родильницы, что хочет и не может
сомкнуться, потому что темнота,
рожденная в довес к младенцу, входит,
теснит, торопит и собирает в путь.

Не следовало плакальщиц, однако ж,
набрать по найму, — мастериц вопить,
за плату? Можно мздой не поскупиться,
и бабы выли б, глоток не щадя.
Обрядов нам! У нас нужда в обрядах.
Все гибнет, все исходит в болтовне.
И, — мертвая, еще должна ты бегать
за жалобой задолженной ко мне!
Ты слышишь ли, я жалуюсь. Свой голое
я бросил бы, как плат, во всю длину
твоих останков, и кромсал, покамест
не измочалил, и мои слова,
как оборванцы, зябли бы, слоняясь,
в отрепьях этих, если б все свелось
лишь к жалобам. Но нет, я обвиняю.
И не того, отдельного, кто вспать
повел тебя (его не доискаться
и он, как все), — я обвиняю всех,
всех разом обвиняю в нем: в мужчине.

И пусть бы даль младенчества тогда
мне вспомнилась, былую детскость детства
уликой озяря, — не хочу
про это ведать. Ангела, не глядя,
слеплю я из нее и зашвырну

в передний ряд орущих серафимов,
напоминаям рвущихся к творцу.

Затем, что мука эта стала слишком
не в мочь. Уже давно несносна ложь
любви, что, зиждясь на седой привычке,
зовется правом и срамит права.
Кто вправе обладать из нас? Как может
владеться то, что и само себя
лишь на мгновенье ловит и, ликуя,
бросает в воздух, точно детский мяч?
Как флагману не привязать победы
к форштевню судна, если в существе
богини есть таинственная легкость
и рвет невольню в море, так и мы
не властны кликать женщину, коль скоро,
не видя нас, она уходит прочь
по жерди жизни, чудом невредима;
неравно, что самих нас манит зло.

Ведь вот он, грех, коль есть какой на свете:
не умножать чужой свободы всей
своей свободой. Вся любви премудрость —
давать друг другу волю. А держать
не трудно, и дается без ученья.

Ты тут еще? В каком ты месте? Ах,
как это все жило в тебе, как много
умела ты, когда угасла, вся
раскрывшись, как заря. Терпеть — дар женщин.
Любить же, значит жить наедине.
Порой еще художники провидят:

в преображеньи долг и смысл любви.
Здесь ты была сильна, и даже слава
теперь бессильна это исказить.
Ты так ее чуждалась. Ты старалась
прожить в тени. Ты вобрала в себя
свою красу, как серым утром будней
спускают флаг, и только и жила
что мыслью о труде, который все же
не завершен; у в ы , — не завершен.

Но если ты все тут еще, и где-то
в потемках этих место есть, где дух
твой зыблется на плоских волнах звука,
которые мой голос катит в ночь
из комнаты, то слушай: помоги мне.
Ты видишь, как, не уследя, когда,
мы падаем с своих высот во что-то,
чего и в мыслях не держали, где
запутываемся, как в сновиденьи,
и засыпаем вечным сном. Никто
не просыпался. С каждым подымавшим
кровь сердца своего в надежный труд,
случалось, что она по перекачке
срывалась вниз нестоящей струей.
Есть между жизнью и большой работой
старинная какая-то вражда.
Так вот: найти ее и дать ей имя
и помоги мне. Не ходи назад.
Будь между мертвых. Мертвые не праздны.
И помощь дай, не отвлекаясь; так,
как самое далекое, порою
мне помощь подает. Во мне самом.

Реквием

Так я не знал тебя? А у меня
ты на сердце, как тяжесть начинанья
отсроченного. Сразу бы в строку
тебя, покойник, страстно почиющий
по доброй воле. Дал ли этот шаг
то облегченье, как тебе казалось,
иль нежитье — еще не весь покой?
Ты полагал: где не в цене владенья, —
верней кусок. Ты там мечтал попасть
в живые недра дали, постоянно,
как живопись, дразнившей зренья здесь,
и, очутившись изнутри в любимой,
сквозь все пройти, как трепет скрытых сил.
О, только бы теперь обманом чувств
не довершил ты прежнюю ошибку.
О, только б, растворенный быстринной,
беспамятством кружим, обрел в движеньи
ту радость, что отсюда перенес
в мерещившуюся тебе загробность.
В какой близи был от нее ты здесь!
Как было тут ей свойственно и свично, —
большой мечте твоей большой тоски.

.
Зачем ты не дал тяготе зайти
за край терпенья? Тут ее распутье.
Оно ее преображает всю,
и дальше трудность значит неподдельность.
Таков был, может быть, ближайший миг,
в венке спешивший к твоему порогу,
когда ты перед ним захлопнул дверь.

О этот звук, как бьет он по вселенной,
когда на нетерпенье сквозняке
отворы западают на замычку!
Кто подтвердит, что не дают щелей
ростки семян в земле; кто поручится,
не вспыхивает ли в ручных зверях
позыв к убийству в миг, когда отдача
забрасывает молнии в их мозг.
Кто знает, как вонзается поступок
в соседний шест; кто проследит удар,
когда кругом проводники влиянья.
И все разрушить! И отныне стать
навек такую притчей во языцех.
Когда ж герой в неистовстве души,
на видимости разъярясь, как маски,
срывает их и обнажает нам
забытое лицо вещей, то это
есть зрелище и зрелище навек.
И все разрушить. — Глыбы были вкруг,
и воздух веял предвкушеньем меры,
бессильный зданье будущее скрыть,
а ты, бродя, не видел их порядка.
Одна другую заслоняла; все
вращали в грунт, едва ты их касался
без веры, что подынешь; и один
загреб их все в отчаяньи в охапку,
чтоб ринуть вниз в зияющую пасть
каменоломни. Но они не входят.
Ты покривил их страстью. — Опустись
на этот гнев, пока он был в зачатке,
прикосновение женщины; случись
вблизи прохожий с недосужим взглядом

безмолвных глаз, когда ты молча шел
свершать свое; лежи дорога мимо
слесарни, где мужчины, грохоча,
приводят день в простое исполнение;
да нет, найдись в твоих глухих зрачках
местечко для сырого отпечатка,
преграду обходящего жулка, —
ты б тотчас же при этом озареньи
прочел скрижаль, которой письменна
ты с детства врезал в сердце, часто после
лица, не сложится ль чего из букв,
и строил фразы и не видел смысла.
Я знаю, знаю: ты лежал ничком
и щупал шрифт, как надпись на гробнице.
Все, что ты знал горячего, дрожа,
ты подносил, как светоч, к этой строчке.
Но светоч гас, не дав ее постичь,
от частого ли твоего дыханья,
от вздрагиванья ли твоей руки,
иль просто так, как часто гаснет пламя.
Ты был чтецом неопытным. А нам —
не разобрать в скорбях на расстояньи.
И лишь к стихам есть доступ, где слова
отборные несет былое чувство.
Но нет, не все ты отбирал; порой
начатки строф, как целого предвестья,
валились в ряд, и ты их повторял,
как порученье, мнившееся грустным.
О, вовсе б не слышать тебе тех строк
из уст своих. Твой добрый гений ныне
иначе произносит тот же текст,
и как, пленясь его манерой чтенья,

я полн тобою! Ибо это — ты;
тут все твое, и вот в чем был твой опыт:
что все, что дорого, должно отпасть,
что в пристальности скрыто отречение,
что смерть есть то, в чем можно преуспеть.
Тут все твое, три эти формы были
в твоих руках, художник. Вот литье
из первой: — ширь вокруг живого чувства.
Вот что вторую наполнило: — творца
не жаждущее ничего возренье.
В последней же, которую ты сам
разбил, едва лишь первый выпуск сплава
из сердца ворвался в нее, была
та подлинная смерть глубокойковки
и превосходной выделки, та смерть,
которой мы всего нужнее в жизни,
да и нигде не ближе к ней, чем здесь.
Вот чем владел ты и о чем ты часто
догадывался; но затем тебя
пугали этих полых форм изъемы,
ты скреб их дно, и черпал пустоту,
и сетовал. О старый бич поэтов,
что сетуют, тогда как в сказе суть;
что вечно судят о своих влеченьях,
а дело в лепке; что еще поднесь
воображают, будто им известно,
что грустного, что радостного в них,
и будто дело рифм греметь об этом
с прискорбьем или с торжеством. Их речь,
как у больных; они тебе опишут,
что у кого болит, взамен того,
чтобы самим преобразиться в слово,

как в ярости труда каменотес
становится безмолвьем стен соборных.
Вот где спасенье было. Если б раз
ты подсмотрел, как рок вступает в строку,
чтоб навсегда остаться в ней и стать
подобием, и только, — равносильным
портрету предка (вот он на стене;
он схож с тобой, и он не схож) — тогда бы
ты выдержал.

Но мелочно гадать
о небывавшем. И налет упрека,
упавший вскользь, направлен не в тебя.
Все явное настолько дальше наших
догадок, что догнать и доглядеть
случившееся мы не в состоянии.
Не устыдись, коль мертвецы заденут
из выстоявших до конца. (Но что
назвать концом?) Взгляни на них спокойно,
как должно, не боясь, что по тебе
у нас особенный какой-то траур,
и это им бросается в глаза.
Слова больших времен, когда деянья
наглядно зрими были, не про нас.
Не до побед. Все дело в одоленьи.

ИЗ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

Юлиуш Словацкий

1809—1848

«Кулиг»

Праздничный поезд мчится стрелою.
В вооружении, вереницей
Мчатся на место жаркого боя
Радостнее, чем в отпуск с позиций.
К дому лесному в чаще нагрянем,
Спящих без платья стащим с кровати.
Поторопитесь с приодеваньем!
Едемте с нами, время не тратьте!
Сядемте в сани в чем вас застали.
Топают кони, кличут возницы.
Это гулянье на карнавале.
Дальше и дальше, к самой границе!

Двор при дороге. Коней слыша,
Ночь отзывается тявканьем песьим.
Не нарушая сна и затишья,
Мигом в безмолвии ноги уносим.

Кони, что птицы. В мыле подпруги.
Снежную кромку режут полозья.

В небе ни тучки. В призрачном круге
Месяц свечою стал на морозе.

Редкому спится. Встречные с нами.
Кто б ни попался, тот в хороводе.
Над ездowymi факелов пламя.
Кони, что птицы, В мыле поводиья.

Если ж нельзя вам за нездоровьем,
Да не смутит вас пенье петушье.
Мы полукровок не остановим.
Мимо промчимся, сна не наруша.
Нечего думать нам о привале.
Редко какому дома сидится.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Стойте! Постройка. Отсвет кенкетов.
В воздух стреляю вместо пароля.
Тотчас ответный треск пистолетов.
Шляхта справляет свадьбу на воле.
Едемте с нами, шафер и сваты!
Где новобрачный? Кланяйся тестю.
Просим прощенья. Не виноваты.
Наше почтенье милой невесте.
Долгие сборы — лишние слезы.
Без разговоров разом в дорогу!
Ставь жениховы сани к обозу.
Вышли, махнули шапкой, и трогай!
Едемте с нами в чем вас застали.
Вихрем несутся кони, как птицы.

Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Стойте тут, стойте! Снова именье.
Выстрелить, что ли? Тише. Отставить.
Лучше повергнем в недоуменье.
Всюду нахрапом тоже нельзя ведь.
Молча проходим мы по аллеям.
Дом. Занавески черного штофа.
Мы соболезуем и сожалеем.
В доме какая-то катастрофа.
Сборище в зале на панихиде.
Отрок у гроба. Зал в позолоте.
Ах, в опустевшей вотчине сидя,
Сударь бесценный, вы пропадете.
Мы вас увозим. Слушайте! Слепо.
Всех вас собравшихся к отпеванью,
В траурных лентах черного крепа,
Просим покорно в парные сани.
Едемте с нами в чем вас застали.
Свищут полозья. Кони, что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе!

Стойте. Усадьба. Память о предках,
Кажется, реет где-то незримо.
Дверь кабинета. Свечи в розетках.
Ломберный столик. Облако дыма.
Карты! К лицу ль это, судари, шляхте
В час, когда зреют судьбы народа?
Цепью стрелковой в поле залягте!
К дьяволу карты! К черту колоды!

Вооружайтесь! Вон из трущобы!
Пусть в короли и валеты и дамы
Лишь коронованные особы
Мастью играют тою же самой.
Пусть венценосцы и фаворитки,
Лишь доверяя равным и близким,
Мечут упавшие вдвое кредитки
С Карлом Десятым, с беem тунисским,
Едемте с нами в чем вас застали.
К дьяволу карты! Кони, что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Стойте. Старинный замок вельможи.
Залпы в ответ на залпы отряда.
В окнах личины. Странные рожи.
Бальные платья. Шум маскарада.
Черти, монахи, рыцари, турки,
Старый бродяга с бурым медведем!
Не доплясавши первой мазурки,
К нам выходите, вместе поедem!
Едемте с нами в чем вас застали,
Мавры, испанцы и сицилийцы!
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Стойте тут, стойте! Новое зданье.
Света в окошках нет и в помине.
В воздух стреляю. Тихо. Молчанье.
Тьма и безмолвье сна и пустыни.
В двери стучитесь. Спать по-мертвецки?!
Нет, не перечьте нашей забаве.

С лампой выходит старый дворецкий.
«Спит твой хозяин? Вот добронравье!»
«Нет, он не спит. Господин мой и дети,
Только узнали о возмущеньи
В ночь декабря со второго на третье,
Вышли с отрядом в вооруженьи.
Вот почему опустели аллеи».
«Твой господин молодчина! А мы-то!
Думали, дрыхнет, — вот дуралей!
Больше таких бы Польше в защиту».
Едемте дальше, раз не застали.
Свищут полозья, кони, что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Месяц сияет. В мыле буланный.
Полоз дорогу санную режет.
Сыплются искры. Блещут поляны,
И постепенно утро уж брезжит.
Мы подъезжаем. Стало виднее.
Вот и граница. Мы на кургане.
Заговорили все батареи.
Это на масляной нашей катанье.

Песнь литовского легиона

Ура, да здравствует Литва!
Хвалой ей солнце блещет.
Она жива! Она жива!
Ей тени рукоплещут.
Бульжником по воротам —
В казарменную плесень!

Мы будем мстить за долгий срам
Дождем камней и десен.
Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Напрасно праву кулака
Учили нас тевтоны.
Мы будем бить наверняка,
Вступайте в легионы!

Шлют итальянцев усмирять.
Кого оставим охранять
Отцовские могилы?
Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Ольгерд светильник дал послам,
Сказав: «Пока он светит,
Ольгерд осадит вас и сам
Царю войной ответит».
И, выступив вслед за гонцом,
Нагрянул, верный слову,
Как будто с крашеным яйцом
Явившись к дню Христову.
Покажем новому царю
Такое же усердьё.
Врагов народа к фонарю
На память об Ольгерде!

Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

А вам, птенцы военных школ,
В столице Ягеллонов
Букетами прекрасный пол
Усыплет путь с балконов.
При следованьи ваших рот
Одушевится глина,
И к вам бойницы повернет
Твердыня Гедимина.
Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Теперь конец дурной молве
И долгому унынию.
Никто не спросит о Литве,
Жива ль она доныне.
Об этом говорят дела,
А так мала дружина,
Затем, что буря у ствола
Оборвала вершину.
Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Когда раздастся шум знамен,
Себя забудет всякий.

Тесней сомкнется легион
И ринется в атаку.
Чем ближе смерть к кому-нибудь,
Тем перед ней он бравей.
Самопожертвованье — путь
К непреходящей славе.
Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Болеслав Лесьмян

1878—1937

Сестре

Ты спала непробудно в гробу
В стороне от вседневности плоской.
Я смотрел на твою худобу,
Как на легкую куклу из воска.

Пред тобой простирался тот свет.
Для вступленья на эту чужбину
На тебе был навеки надет
Мешковатый наряд пестрядинный.

В доме каждая смерть говорит
Об еще не открытом злодействе.
Каждый из умиравших убит
Самой близкой рукою в семействе.

Я укрыться убийцам не дам.
Я их всех, я их всех обнаружу.
Я найду, я найду их. Но сам,
Сам я всех их, наверное, хуже.

Понапрасну судьбу мы виним,
Обходясь оговоркой окольной.
Лучше, боже, прости нам самим
Грех наш вольный и грех наш невольный.

То я грезил, — еще ты больна
И мне пишешь письмо из больницы,
То я слышал с могильного дна:
«Дай мне есть» или «дай мне напиться».

Как ответить? Отвечу ли я?
Бог один пред тобою в ответе.
Нет на свете такого питья,
Нет и хлеба такого на свете.

Гроб качался на наших руках.
Вот уж он на крестьянской подводе.
О, какой охватил меня страх,
Когда тронул возница поводья!

Может, ты в летаргическом сне
И живую тебя закопают?
Но резонно ответили мне,
Что ошибок таких не бывает.

Молча брел я за возом в подъем.
Мир заметно мельчал предо мною,
Уменьшаясь в размере своем
На одно существо небольшое.

Я шел молча. «Увы, может быть, —
Думал я, — нет столь родственных нитей,

Без которых нельзя было б жить».
Это грустное было открытье.

Ночь у гроба длинна и пуста.
Тех уж нет, кто глядит из гробницы.
Истлевают их взгляд и уста.
Лица их — черепа, а не лица.

Знаю я, что и в тленье свой путь
Под землей ты проделаешь честно.
Но вовек не решусь заглянуть,
Как ты гнешься под ношею крестной.

Верно, смерть протрезвляет всю плоть
От желаний, и жажды, и хмеля.
Догадается ль только господь,
Что лежишь перед ним в подземелье?

Ты, парящий в далеких мирах,
Задержи перелет свой по тверди
И согрей на груди этот прах,
Что обманут твоим милосердьем.

Владислав Броневский

1898—1962

Я и стихи

Думают, стихосложение —
как солдатское «ать-два».
маршируют отделенья,
строятся в ряды слова.

На стихи давно б я плюнул,
но не в силах перестать:
черт какой-то мне подсунул
надоевшую тетрадь.

И у черта план роскошный,
чтоб такое я загнул,
чтобы небу стало тошно
и чтоб лопнул Вельзевул.

Вот я и веду бессменно,
закрепляя каждый миг,
из скитаний по вселенной
свой космический дневник.

В прошлом — Лондона туманы,
недоснившиеся сны...

Как на эти все романы
поглядеть со стороны?

И другое есть в сознание,
но охватывает страх
вплоть до сердца замиранья
думать о таких вещах!..

Есть мучительное право
знать, что мир зажат в тиски,
вспоминать давно Варшаву
до мучительной тоски.

Кровь и гибель в миг тоски я
словно вижу наяву.
Именем твоим, Мария,
я бессонницу зову...

• • • • •

Думал я: в дыму стеная,
старый город пал... И вот
плачу я... Прости, родная!..
А отчаянье растет...

Но беспомощный, неловкий,
все в Леванте, у воды,
обучаю маршировке
стихотворные лады...

Это мне не нужно лично
и не нужно никому.
Родина ведь безгранична,
сердцу нужды нет в дому...

ИЗ ЧЕШСКИХ ПОЭТОВ

Витезслав Незвал

1900—1958

Судьба, о судьбина!

Судьба, о судьбина,
Как всех я покину,
Мне в целой вселенной
Не будет замены.
Появятся вещи
Того-то, того-то,
Слова будут хлеще
И тоньше остроты.
Но суть не во вкусе,
Не в блеске работы.
Стихи мои — гуси
Порой перелета.
Часть стихотворений
Погибнет в дороге,
А те, что смиренней,
Спасутся в итоге.

Без названия

Я вам прощаю, люди, слепоту
Стяжання, чванства жалкие потуги.
Я вашему тщеславию предпочту,
В траве валяясь, думать на досуге.

Я лягу под сиреневым кустом,
Где пахнет дерном и болиголовом,
И, вспомнивши о чем-нибудь простом,
Почувствую себя совсем здоровым.

Над Свраткою-рекой

Над Свраткою-рекой вероника в цветеньи
И берега в густой траве и тростнике.
Купаться счастье тут, бродить тут наслажденье.
Над Свраткою-рекой вероника в цветеньи.
Темна и холодна, как лед, вода в реке.

Здесь знойным летом тень, как дома на картине,
Висящей на стене в гостиной меж зеркал.
И пахнет тмином здесь, ромашкой и польнью.
А знойным летом тень, как дома на картине,
Как в том саду, куда я в детстве забредал.

Есть радостней места и краше, может статься,
И реки веселей, чем Свратка, может быть,
Но здесь пришлось семье обосноваться.
Есть редкостней места и краше, может статься,
Но там, быть может, мать не захотела б жить.

Быть может, в мире есть блистательней державы,
Где реки голубей и зеленой поля, —
Любимицей моей останется Морава.
Быть может, в мире есть блистательней державы,
Но те мне не сродни, как здешняя земля.

Есть кладбища пышной, нам с ними не сравниться,
Над Прагой Вышеград роскошнее втрое,
Но мне милее в Брно гранитные гробницы.
Есть кладбища пышной, нам с ними не сравниться,
Но памятники в Брно милей раз во сто мне.

Вероника в цвету над Свраткою весною,
А летом этот склон под кукурузой сплошь.
Как сожалели мы, покинув Брно родное.
Вероника в цвету над Свраткою весною,
Нигде подобных мест на свете не найдешь.

Есть редкостней места и краше, может статься,
Чем Свратки берега, не буду отрицать,
Но родиной ни с кем не стал бы я меняться.
Есть редкостней места и краше, может статься,
Но здесь моя земля, моя родная мать.

Ондра Лысогорский

Род. в 1906 г.

Хранитель жизни

Сложила ль молча мать-земля ладони
И не откроет опаленных глаз?
Пожарища дымят на небосклоне,
И вырос мак, где раньше кровь лилась.

На виселицах карканье воронье.
Под паутиной свастики — приказ.
Но в духоте тоски потусторонней
Не задохнется мир на этот раз.

Как смею обращаться я к сонету,
Когда душа у всех без слов болит?
Излиться в долговечной форме этой

Мне совесть наболевшая велит.
Средь жизни, грустью сумерек объятай,
Поэт — ее хранитель и гдашатай.

Превращенье

Бежит поток, не внемлющий преградам,
Бежит, катая камушки во рту.
Завидев рыбку плотоядным взглядом,
Ныряет в воду чайка на лету.

Бежит поток, не ведая, что рядом —
Обрыв, и, взяв с разбега высоту,
Он ринется в долину водопадом,
Перелетев заветную черту.

Так жизнь моя нечаянно упала
Струей надежды, смерти и войны
С уступов снегового перевала

На пажити соседней стороны.
Россия приняла меня потоком.
Я стал рекой в ее краю широком.

Грушевские пруды

В грязи блестит, посмеиваясь, пруд
Холодным зеркалом горячей глади.
Стоят часы и звука эха ждут,
Молчащего поблизости в засаде.

И дикий гусь в двоящихся кругах,
Волну, как краску лишнюю, смывая,
С трудом плывет, преодолая страх,
Что никогда не доплывет до края.

В овраге тень, малиновый квасок,
И плеск, и плесень по краям плотины,
И сонный шорох спутанных осок,
Задетых синей спинкой стрекозиной.

Зеленой рынок в Острове

Пестрый платок очутился средь сажки,
Ветер играет им, как огнем.
С камня посматривает на пряжу
Башня подслеповатым окном.

Пряжу растаскивают по шерстинке.
Рыщут трамваи, как муравьи.
Пусто становится к полдню на рынке.
Фабрики плят трубы свои.

Пусто на рынке после привоза.
С полдня кончается кутерьма.
Мусор капустный, мятые розы
И от платка — одна бахрома.

Венецианские мосты

Как будто кот за мышкой малой
Бросается из темноты,
Над тихую водой канала
Подскакивают вверх мосты.

Их выгибы бросают тени
Горбатой каменной резьбы

На затонувшие ступени
И на причальные столбы.
Кормою лодки вдоль балкона
Проскальзывает гондольер
И пропадает, озаренный,
Под аркой, как во тьме пещер.
Кому назначено свиданье?
Но утаит их имена
Аккорда звон под аркой зданья,
И отзвук волн, и тишина.
А из дворцового подполья
Выныривает стая крыс.
И на швартовочные колья
Герб у портала смотрит вниз.
Что стережет он, как привратник?
И почему вы не коты,
Чтоб ринуться в сырой крысятник,
Венецианские мосты?

Радиорупор

В песках пустыни — вечер и прохлада.
Накрапывает дождь, журчит вода.
Радиорупор мечет в ночь рулады.
Кому они назначены? Куда?

Что дарит человеку на чужбине
Горляющего рупора труба?
О чем ему в домишке близ пустыни
Журчащих кровель шепчут желоба?

Стоит, к воротам прислонившись, кто-то.
И дождь ему смывает слезы с век.
Другие видятся ему ворота,

А рядом тот же бешеный разбег
Уносит в ночь рулады из пролета.
Свои Бескиды видит человек.

Комната в Ташкенте

Не живописца ль огненный этюдник?
Нет, солнца луч на внешнем сквозняке.
Вот кто зажег средь комнаты, причудник,
Куст кактуса в фаянсовом горшке.

Все спуталось. Какая роскошь глазу!
Где был стакан, там радуги игра
Разбрасывает пачками алмазы
В цветной вулкан узбекского ковра.

Я из угла смотрю и цепенею
Голодными глазами северян,
Как под лучами солнца-чародея

Предметы вызревают, как баштан.
И я вернусь, как из оранжереи,
На родину, ташкентским солнцем пьян.

ИЗ ВЕНГЕРСКИХ ПОЭТОВ

Шандор Петефи

1823—1849

Дворянин

Его привязывают к лавке,
Спина до плеч заголена.
Он вор, грабитель — слов достойных
Не сыщешь, что за сатана!

А он артачится, и — в голос:
«Плетьми? За какой провин?
Не прикасаться к благородным!
Я дворянин! Я дворянин!»

Слышали, как он льет помой
На вас, отцы его отца?
Да ведь за это высечь мало! —
На виселицу молодца!

Побывка у своих

С отцом мы выпивали,
В ударе был отец.
Храни его и дале,
Как до сих пор, творец!

За много лет скитаний
Я не видал родни.
Отца, сверх ожиданий,
Скрутили эти дни.

Поговорили вволю,
Пред тем, как спать залечь,
И об актерской доле
Зашла при этом речь.

Бельмо в глазу отцовом
Такое ремесло,—
Мне с ним под отчим кровом
Опять не повезло.

«Житье ль в бродячей труппе
На должности шута?»
Я слушал, лоб насупя,
Не открывая рта.

«Смотри, как щеки впали.
И будет хуже впредь.
Твои сальто-мортале
Не прочь я посмотреть».

С улыбкою любезной
Внимая знатоку,
Я знал, что бесполезно
Перечить старику.

Потом, чтоб кончить споры,
Стихи я произнес.

Твердя мне: «Вот умора!» —
Он хохотал до слез.

Старик не в восхищеньи,
Что сын поэт. Добряк
Невыгодного мненья
О племени писак.

Я на него не злился.
Не надо забывать:
Он в жизни лишь учился
Скотину свежевать.

Когда вино во фляге
Понизилось до дна,
Я бросился к бумаге,
А он в объятья сна.

Тогда вопросов кучу
Мне предложила мать.
Я понял, что не случай
Мне в эту ночь писать.

Носил печать заботы
Предмет ее бесед.
Я ей с большой охотой
На все давал ответ.

И, сидя перед нею,
Я видел — нет нежней
И любящих сильнее
На свете матерей.

Моя любовь

Моя любовь не соловьиный скит,
Где с пеньем пробуждаются от сна,
Пока земля наполовину спит,
От поцелуев солнечных красна.

Моя любовь не тихий пруд лесной,
Где плещут отраженья лебедей
И, выгибая шеи пред луной,
Проходят вплавь, раскланиваясь с ней.

Моя любовь не сладость старшинства
В укромном доме среди густых раkit,
Где безмятежность, дому голова,
По-матерински радость-дочь растит.

Моя любовь — дремучий темный лес,
Где проходимцем ревность залегла
И безнадежность, как головорез,
С кинжалом караулит у ствола.

Старый добрый трактирщик

Здесь, откуда долго ехать до предгорий,
На степном низовье, среди цветущих далей,
Провожу я дни в довольстве на просторе,
Не тужу, живу, не ведаю печалей.
Постоялый двор — мое жильё в деревне.
Утром тишина, лишь ночью шум в прихожей.

Старый добрый дед хозяйствует в харчевне, —
Будь ему во всем благословенье божье!

Здесь я даром ем и пью и прочь не еду.
Сроду не видал ухода я такого.
Никого не жду, садясь за стол к обеду,
Опоздал, войду — все ждут меня в столовой.
Жалко лишь, с женой своей трактирщик старый
Ссорится подчас, — характером не схожи.
Впрочем, как начнет, так и кончает свару, —
Будь ему во всем благословенье божье!

С ним толкуем, как он в гору шел сначала.
То-то красота, ни горя, ни заботы!
Дом и сад плодовый, земли, капиталы,
Лошадям, волам тогда не знал он счету.
Капитал уплыл в карманы к компаньонам,
Дом унес Дунай со скарбом и одежей.
Обеднел трактирщик в возрасте преклонном, —
Будь ему во всем благословенье божье!

Век его заметно клонится к закату.
В старости мечтает каждый о покое,
А старик несчастный поглощен проклятой
Мыслью о насущном хлебе и тоскою.
Будни ль, праздник, сам он занят неустанно,
Раньше всех встает, ложится спать всех позже.
Бедствует трактирщик, жалко старикана, —
Будь ему во всем благословенье божье!

Говорю ему: «Минует злополучье,
Дни удач опять вернутся в изобилье».

«Верно, говорит, что скоро станет лучше.
Спору нет — ведь я одной ногой в могиле».
Весь в слезах тогда от этого удара,
К старику на шею я бросаюсь с дрожью.
Это ведь отец мой, тот трактирщик старый, —
Будь ему во всем благословенье божье!

Развалины корчмы

Простор чудесной степи низовой,
Из всех краев излюбленнейший мой!
В горах то вверх, то вниз, за пиком пик,
Я двигаюсь, как по страницам книг,
А ты мне уясняешь все сама,
Как содержанье вскрытого письма,
Где сразу можно без труда прочесть,
Что нового и важного в нем есть.
Как жаль, что я наездами сюда,
А не в степи безвыездно всегда,
Один с собой, как может быть один
Аравии бескрайной бедуин.
Свободой веет здесь, в степной глуши,
Свобода ж — божество моей души!
Да и живу я только для того,
Чтоб умереть за это божество,
И я легко скажу «прости» годам,
Когда всю кровь по капле ей отдам.
Откуда мысли мрачные нашли?
Я увидал развалины вдали.
Развалины чего? Дворца? Двора?
Пустой вопрос. Все прах, все мишура.

Что замок, что харчевня — все тщета,
И все растопчет времени пята.
Под эту ногу не устоит
Ни зданье, ни железо, ни гранит.
Корчма из камня. Но откуда он?
Здесь пустошь с незапамятных времен.
В те дни, когда наш край не знал тревог,
До власти турок был здесь городок.
(О Венгрия, в течение веков
Сменилось сколько на тебе оков!)
Османы выжгли городок дотла,
Лишь церковь бедствие пережила.
Но вид пожарищ стольких и могил
Ее, как плакальщицу, подкосил.
Карниз ее все ниже нависал,
Покамест мук не прекратил обвал.
Из каменных обломков алтаря
Построили обитель корчмаря.
Питейный дом из божья дома? Что ж,
И храм не вреден, и кабак хорош.
Мы дух и плоть, так создал нас господь,
И мы должны блюсти и дух и плоть.
Пусть стал питейным домом божий дом,
Угодным богу можно быть во всем.
А чистых сердцем между пьяных рож
Я видел больше, чем среди святош.
Во время оно, старая корчма,
Какая здесь царила кутерьма!
Я строю мысленно тебя опять
И всех гостей могу пересчитать.
Вот странник-подмастерье взял стакан.
Вот шайка жуликов и атаман.

Вот с бородой, в очках, торгаш-еврей.
Вот медник-серб с товаром у дверей.
А вот недоучившийся студент
С красавицей шинкаркой в вихре лент.
Его сознание заморожено,
И в голову ударило вино.
А муж? Где муж? Где старь? На копне
Храпит, забывши обо всем во сне.
Он спит опять, на этот раз в земле,
И с ним все те, кто был навеселе:
Жена-красавица, и грамотей,
И полная гостиная гостей.
Они давно истлели, и от стен,
Ютивших их, остался только тлен.
Боролась долго с временем корчма
И старилась, как старятся дома.
Как головной платок с ее волос,
С нее однажды ветер крышу снес.
Она пред ним готова в ноги пасть,
Чтоб не показывал над нею власть.
Но все перемешалось, все в былом,
Оконный выем и дверной пролом.
И только к небу поднята труба,
Почти как умирающей мольба.
Засыпан погреб, снят с колодца вал,
Столбы и раму кто-то разобрал,
Но цел журавль, на нем сидит орел,
Он круч искал — и этот шест нашел,
Он сел и мерит взглядом небосклон
И размышляет о чреде времен.
Пылает небо, — так любовь пылка
У солнца к детищу солончака.

Да вот она: глаза вперила в синь,
Фата-моргана, марево пустынь.

Ночь звездная, ночь светло-голубая

В окне раскрытом блещет ночь без края,
Ночь звездная, ночь светло-голубая.
Безмерный мир простерся между ставен,
Мой ангел красотою звездам равен.

Ночь звездная и ангел мой — два дива,
Затмившие все, чем земля красива.
Красот я много видел средь скитаний,
Но ни одной не встретил несказанной.

Бледнеет тонкий серп луны и скоро
Зайдет за синий выступ косогора.
Как горя след забытый, незаметно
Совсем исчез он в дымке предрассветной.

Уже почти над головой Стожары,
Достигло пенье петухов разгара,
Проснулся день, и свежий ветер, вея,
Легко мне обдувает лоб и шею.

Пора бы растянуться на кровати
И от окна уйти. Но сон некстати.
Зачем мне спать? Какой мне сон приснится,
Который с жизнью наяву сравнится?

Скинь, пастух, овчину...

Скинь, пастух, овчину, леший!
Воробьев пугать повешу.
Видишь, налегке, без шубы,
Как реке-резвушке любо!

Разлилась и всюю грудью
Жметя к мельничной запруде,
Потому что в эту белость
Сверху небо загляделось.

Где синичек пересуды?
Соловьи взялись откуда?
Где да что — мне горя м а л о , —
Пели б в роще, как бывало.

Первый лист, как пух бесперый
На орехе у забора.
Будут крылья — от желанной
Улететь не смей с поляны.

Эй, куда, куда, знакомка?
К лавочнику за тесемкой?
Вон бери их, даровые
Ленты — версты луговые.

Цветы

Любуюсь, обходя поля,
Цветами средь густой травы.
Цветы мои, мои цветы,

Прекрасны несказанно вы.
Как мальчик девочки, дичусь
Я вашей дивной красоты.
И завещаю на моей
Могиле посадить цветы.

Присаживаюсь я к цветку,
И вот, беседою согрет,
Я признаюсь ему в любви
И жду, что скажет он в ответ.
Он понял все, но он молчит
Под видом ложной немоты.
Я завещаю на моей
Могиле посадить цветы.

Как знать, быть может, аромат
Цветка и есть его язык?
Он обращается к душе
И ставит нашу мысль в тупик.
Но мир существ вообразим,
Лишенных этой глухоты.
Я завещаю на моей
Могиле посадить цветы.

Да, верно, запах — это звук,
И я услышу песнь цветов,
Когда спадет с меня в гробу
Глушащий эту песнь покров.
Не дух я буду обонять,
А слышать музыку мечты.
Я завещаю на моей
Могиле посадить цветы.

Могилу будет овевать
Их, ставший благозвучьем, дух
И усыпительно ласкать
Мне колыбельной песнью слух.
Я буду спать, и вновь весна
Расплавит снежные пласты.
Я завещаю на моей
Могиле посадить цветы.

Звездное небо

Я на спине лежу и из густой травы
На звезды ясные гляжу во власти грез.
Их серебристый свет, касаясь головы,
Свивается венком вокруг моих волос.
Я душу выкупал свою в дождях лучей,
Их светлый ливень смыл с нее земную муть,
Она рванулась ввысь, чтобы себе скорей
Путь на небо вернуть.

Земля объята сном, он сладок и глубок,
И что-то лишь в тиши гудит невдалеке:
Букашка ль близ меня уселась на цветок,
Или вдали шумит плотина на реке,
Иль это более еще далекий гром
И эха замирающий ответ,
Иль то душа моя свой праздничный псалом
Поет с других планет?

Лети, душа моя, сквозь дали без числа
И загляни за край таинственных завес,

Которые рука господня соткала
В премудрости иль прихоти небес.
И взорами пытливыми окинь
Всю бездну звезд, весь купол голубой
И прилети сквозь горнюю их синь —
Поговорить со мной.
Что видела? — спрошу. — Там есть ли жизнь, как тут?
Похожа ли она на наш тоскливый ад?
И существует ли взаправду Страшный суд,
Где жалуют святых, а грешных не щадят?
Но мне-то в этом что? Одно мне объяви,
Одно я знать хочу, одно поведай мне:
Там бьются ли сердца и в них огонь любви
Горит ли в глубине?

И если любят там, то я готов года
Молиться, чтоб господь меня там поселил.
А если нет и вход любви закрыт туда,
То бог с ней, со страной мерцающих светил!
Я землю предпочту тогда любой звезде,
Пусть в ней я превращусь по смерти в прах и тлен —
Все может заменить любовь, любви ж взамен
Нет ничего нигде.

В конце сентября

Цветы по садам доцветают в долине,
И в зелени тополь еще под окном,
Но вот и предвестье зимы и унынья —
Гора в покрывале своем снеговом.
И в сердце моем еще полдень весенний
И лета горячего жар и краса,

Но иней безвременного поседенья
Закрался уже и в мои волоса.

Увяли цветы, умирает живое.
Ко мне на колени, жена моя, сядь.
Ты, льнущая ныне ко мне головою,
Не бросишься ль завтра на гроб мой рыдать?
И, если я раньше умру, ты расправишь
На мне похоронных покровов шитье?
И, сдавшись любви молодой, не оставишь
Для нового имени имя мое?

Ах, если ты бросишь ходить в покрывале,
Повесь мне, как флаг, на могилу свой креп.
Я встану из гроба за вдовой вуалью
И ночью тайком унесу ее в склеп.
Я слезы свои утирать буду ею,
Я рану сердечную ею стяну,
Короткую память твою пожалею,
Но лихом и тут тебя не помяну.

Степь зимой

Степь вправду — степь теперь, и вся седа как лунь.
Ну и хозяйка осень: дом у ней хоть плюнь!
Все, чем весна горда
И летняя страда,
Мотовка на ветер бросает без стыда.
Зимою — мерзость запустенья, холода.

Не звякают вдали бубенчики отар;
На дудке перестал наигрывать овчар;

Не слышно птичьих стай,
Увеселявших край;
Совсем умолк на кочках перепел-дергач,
И больше не пиликает сверчок-скрипач.

Замерзшим морем смотрит пустоши печаль.
Усталой пищей солнце тянет вдаль.
Лучей холодных пук
Стал стар и близорук, —
Нагнуться надо, чтоб увидеть что-нибудь.
Напрасный труд. Кругом одно унынье, жуть.

Пуста дорожка и дощаник рыбака.
Скотина вся в хлевах, на хуторах тоска.
Пред пойлом у корыт,
По стойлам рев стоит,
Артачатся бычки, упрутся и не пьют:
В закутах духота, им хочется на пруд.

Батрак снимает с балки листовой табак,
И на порог кладет, и режет, взяв тесак.
За трубкою в сапог
Полез, набил, разжег,
Сопит, попыхивает и косится вбок:
Не опустел ли в стойле кормовой лоток.

Шинкарь с шинкаркой спят, стоит их мерный храп,
Хоть выкинь вон ключи, замкнув подвал и шкаф.
На шест у их ворот
Никто не завернет —
Зимой сюда ничья не сунется нога,
Метели замели пути. Снега. Снега.

Порывы ветра в поле рыщут вверх и вниз.
Вот вихря клуб рванулся к небу и повис,
Другой размел сугроб,
Рассыпав целый сноп
Снежинок, блестящих, как искры из кремня,
А третий взвыл и бьется с первыми двумя.

Но вот пурга без сил и уползла в углы.
Из разостлавшейся кругом вечерней мглы
Всплывает тень с кнутом
Разбойника верхом.
Пофыркивая, конь несет его домой;
За ними следом волк, над ними ворон злой.

Как изгнанный король с границы смотрит вспять
На родину, пред тем как на чужбину стать,
Так солнца диск, садясь,
Глядит в последний раз
На землю, и, пока насмотрится беглец,
С его главы кровавый катится венец.

В горах

Там внизу, внизу, в ложбине,
Тонет город в дымке синей.
Он на прошлое походит
И, как время, вдаль уходит.
Он рисуется в тумане
В образе воспоминанья.
Хорошо средь высей горных,
Высоченных, непокорных.
Здесь становятся на отдых
Облака в своих походах.

Я б вступал отсюда в споры
С звездами в ночную пору.
Там, внизу, внизу, в тумане,
Смутном, как воспоминанье,
Я оставил мысль о доме
В шумном городском содоме.
Я оставил там заботы.
Я не выношу их гнета,
И когда они на шею —
Я, как камень, цепенею.
Я средь гор вздохнуть присяду, —
Трогать здесь меня не надо.
Для других отдавши годы,
Украду хоть день свободы.
Дрязги я внизу оставил,
Вниз, в туман, обиды сплавил,
Гадости и все иное.
Здесь лишь радости со мною.
Здесь со мной два близких мира:
Милая моя и лира.
Женщина с душой ребенка, —
Вон жена моя сторонкой
Мотыльков с цветов сгоняет,
Рвет цветы, венки сплетает.
Вот она мелькнула тенью,
Вот исчезла на мгновенье,
Вот опять явилась, рея
Феей леса, горной феей.
Я ж стою в благоговенье
Пред красой миротворенья,
Трепетом своим и дрожью
Листья на сердца похожи.

Сонное их шелестенье
Мерно, как сердцебиенье.
Дерево большое с края,
Голову мне осеняя,
С важностью седого предка
Надо мною тянет ветку
И, благословив, как сына,
Ласково трясет вершиной.
Господи! Я чуть не плачу
В благодарности горячей.

Осень вновь...

Осень вновь, опять чаруя,
Красит мне мое житье.
Не пойму, за что люблю я,
Но люблю, люблю ее.

Утоплю глаза в просторах;
С косогора средь травы
Сяду слушать тихий шорох
Опадающей листвы.

Солнце на землю с улыбкой
Смотрит, с кротостью светя,
Словно мать, качая зыбку,
На уснувшее дитя.

У земли на самом деле
Сонный, а не мертвый вид.
Нет, она в своей постели
Не кончается, а спит.

Снявши платье дорогое,
Положила на кровать,
Чтобы было под рукою,
Как придется надевать.

Спи, красавица природа,
Спи до первых дней весны.
Пусть тебе до их прихода
Снятся сладостные сны.

Кончиками пальцев трону
Лиру тихую свою.
Легкий звук скользнет к затону,
Призывая к забвению.

Сядь, дружок, со мной в прохладе.
До тех пор молчи, пока
Смолкнет звук над водной гладью,
Словно шепот ветерка.

Если целоваться станем,
Чуть коснись губами губ,

Чтоб не разбудить касаньем
Дремлющих древесных куп.

В конце года

Старый год, итак, уходишь?
Порожнем уходишь? Стой!
Под землю мрак могильный,

Надо бы туда светильню, —
Песнь мою возьми с собой.

Вновь, испытанная лира,
Службу я тебе задам.
Ты со мной с поры ребячьей, —
Что же нам сказать в придачу
К прежде сказанным словам?

Если славилась ты звуком,
Оправдайся пред молвой.
Заслужи бывшее мненье
И торжественность мгновенья
Звука важностью удвой.

Ну, а вдруг последний вечер
Это на твоём веку?
Может быть, потрогав струны,
В угол я тебя засуну
И назад не извлеку?

Я в солдаты записался
И на поприще большом
Распрошусь с тобой покуда
И стихов писать не буду —
Разве только палашом.

Ну, так разбушуйся, лира!
Выйди вся из берегов.
Пусть струна с струною сцепит
Смех и стон, и плач и лепет,
Спутай жизнь и смерти зов!

Будь, как буря, пред которой
Дубы с корнем — кувырком,
Или расчеси полоску
Еле слышным, как расческа,
Бороздящим ветерком.

Будь как зеркало, и в лицах
Жизнь мою восстанови
С первым возрастом начальным
На глубоком дне зеркальном
И бездонностью любви.

Душу вывори, лира!
Вспомни солнца мотовство
И обеими руками
Сей слабеющее пламя
В час захода своего.

До последних замираний
Звуков сдерживай раскат, —
И в горах времен, пожалуй,
Твой аккорд, как гул обвала,
Будущности повторят.

ИЗ ИСПАНСКИХ ПОЭТОВ

Рафаэль Альберти

Род. в 1902 г.

Федерико Гарсиа Лорке

Минуя в беге города и веси,
Спустишь оленем пенных горных вод
На солнцепек приморского безлесья,
Где только зимородок гнезда вьет.

А я, заждавшись, как небесной манны,
Глотка живого с ледяных высот,
Из камышей соленого лимана
Тростинкой брошусь в твой водоворот.

И на ручье, который взял начало,
Из талой глыбы снежного обвала,
Свои инициалы напишу.

А ты, как пар, сквозной и одинокий,
Осоки шелест растворив в потоке,
Вернись к горам, и дубу, и плющу.

* *
*

Нет его, морюшка-моря.
Вот ведь горе-беда!

Зачем, отец,
Ты взял меня,
Сюда, в этот город проклятый?
Все слышу прибоя раскаты,
Во сне отдаются в груди.
Так, кажется, вот и подкатит косматый
И стащит с кровати,
Того и гляди.

* *
*

Дочь булочницы, встарь
Я изъяснялся флагами
С тобою, как сигнальщик.
Была ты булки лакомей,
А я морской сухарь,
Мне не житье на суше,
А лишь одно удушье,
Совсем как в западне.
С тобой я, помнишь, мальчиком
Играл при звезд сверканьи.
Но хуже, чем в капкане,
У вас на суше мне.

* *
*

Летняя моя матроска,
Мне в тебе не щеголять,
И воротника в полоску
Горожанам с перекрестка

Никогда не увидеть.
В материнском гардеробе
Облаченье моряка,
Чтобы он в матросской робе
Не удрал с материка.

* *
*

Если голос умрет мой на суше,
Отнесите на берег морской,
На какой-нибудь мыс мало-мальский,
Отнесите на берег морской,
И пожалуйста чин адмиральский,
И назначьте на бриг боевой.
О мой голос, покойся средь шири!
Шум прибоя всегда над тобой.
У тебя ордена на мундире:
Якорь, парус и вал голубой.

Сан Рафаэль

(Сьерра де Гуадаррама)

Цветущий шиповник
И роза в цвету.
На розыски из дому
Выйдя, подруга,
Без отзыва кличу
Тебя среди луга.
Гляжу, — зацепясь
За шиповник каемкой,

Запаски знакомой
Повисли тесемки.
А рядом и ты,
Моя прелесть, лежала
Безжизненной труп
Под розою алой.
Как в гуще питомника
Сломанный розан
Под розовой ветки
Колочим обломком.
Как роза в истомы
Холодному поту
Под рослым кустом
В шипах и цвету.

Песня уличного торговца

Облака продаю,
Опахала, напитки,
Шемаю, скумбрию
И кораллы на нитке.

Чешую вечеров
Со слоновою костью
И воздушных шаров
Разноцветные гроздья.

И любое число,
И минувшие сутки,
И свое ремесло,
И его прибаутки.

Башня Иснахар

Узником в этой башне,
Узником я бы остался.
(Все окна распахнуты ветру.)

Кто с севера кличет, подруга?
— Река подступает, бушует.
(Сквозь три только доступ для ветра.)

Чей стон слышен с юга, подруга?
— То воздух шагает бессонный.
(Сквозь два только доступ для ветра.)

Чьи вздохи, мой друг, на востоке?
— Ты самходишь мертвый в бойницу.
(В одно только доступ для ветра.)
Кто, друг мой, на западе плачет?
— Я, мертвый, твой гроб провожая.

Ни в жизнь, ни за что в этой башне
Узником я б не остался.

Эль Пардо

Столько солнца на фронте, в контрасте
С синевой тишина так резка,
Так надменно небес безучастье,
Снисходящее так свысока

Так полянам до смерти нет дела,
Ход часов так собой поглощен,
Снег такую горячую белой
Смотрит с гор вне пространств и времен,

Что от боли валюсь я и слепну,
И лазурь, превратясь в динамит,
Темнотой осыпается склепной
И расколотой тишью гремит.

Крестьяне

Они идут, сверкая смуглой кожей,
Которой, верно, не берет топор.
С кремневой искрой их усмешка схожа,
А скрытность глубже, чем кедровый бор.

Козлом несет от вымокших шинелей,
В мешках картошка, и на ней песок,
И багажа походного тяжеле
Лепешки на подошвах их сапог.

Все те ж они на мостовых столицы,
Что на полях в страду у шалашей.
Им кажется, как семенной пшенице:
Их ждут в глубоких бороздах траншей.

Никто не отдает себе отчета,
Куда спешит, а подоспевши вблизи,
Находит ток, где до седьмого пота
Молотят смерть, чтоб заработать жизнь.

ИЗ ИНДИЙСКИХ ПОЭТОВ

Рабиндранат Тагор

1861—1941

Та, которую я любил

Та женщина, что мне была мила,
Жила когда-то в этой деревеньке.
Тропа к озерной пристани вела,
К гнилым мосткам, на шаткие ступеньки.

Название этой дальней деревушки,
Быть может, знали жители одни.
Холодный ветер приносил с опушки
Землистый запах в пасмурные дни.

Такой порой росли его порывы.
Деревья в роще наклонялись вниз.
В грязи разжиженной дождями нивы
Захлебывался зеленевший рис.

Без близкого участия подруги,
Которая в те годы там жила,
Наверное, не знал бы я в округе
Ни озера, ни рощи, ни села.

Она меня водила к храму Шивы,
Тонувшему в густой лесной тени.
Благодаря знакомству с ней я живо
Запомнил деревенские плетни.

Я б озера не знал, но эту заводь
Она переплывала поперек.
Она любила в этом месте плавать.
В песке следы ее проворных ног.

Поддерживая на плечах кувшины,
Плелись крестьянки с озера с водой.
С ней у дверей здоровались мужчины,
Когда шли мимо с поля слободой.

Она жила в окраинной слободке.
Как мало изменилось все вокруг!
Под свежим ветром парусные лодки,
Как встарь, скользят по озеру на юг.

Крестьяне ждут на берегу парома
И обсуждают сельские дела.
Мне б переправа не была б знакома,
Когда б она здесь рядом не жила.

Последнее письмо

Казалось, хмурится мой дом пустой
И отвернулся от меня в обиде.
Брожу по комнатам, не находя

Себе в нем места. Я сдаю в аренду
Свой дом и уезжаю в Дехра-Дун.
Я долго не решался отворить
Дверь в комнату Омоли. Грудь сжимало.
Но надо было комнату убрать
Пред тем, как дом сдавать, и я решился,
И смело отпер дверь. Флакон духов.
Гребенка. Пара туфелек из Агры.
Налево фисгармония в углу.
На полке книги. Вклеены картинки
В альбом. В порядке платье и белье.
В шкафу зеркальном разные игрушки.
Коробки из-под пудры. Пузырьки.
Я в кресло у стола сажусь в молчанье.
Вот кожаная сумка. С ней, бывало,
Она ходила в школу. Вот тетрадь
С задачами. Раскрытое письмо
Оттуда выпало. Мой адрес криво
Был нацарапан детской рукой.
Пред утопающими, уверяют,
Картины прошлого проходят вмиг.
Когда я в руки взял ее письмо,
То тоже вспомнил все в одну минуту.
Когда скончалась мать ее, Омоли
Исполнилось семь лет. Какой-то страх
Не покидал меня. Я опасался,
Что девочка недолго проживет.
Какая-то печаль ее мрачила.
На личико ее ложилась тень
Предчувствуемой будущей разлуки.
Мне страшно было дома оставлять
Ее одну. Работая в конторе,

Я думал, мало ли какие вдруг
Несчастья случаются на свете.

На праздники приехала гостить
Из Банкипура тетя. «В наше время
Все грамотны, — заметила она. —
Кто женится теперь на неученой?»
Мне стало стыдно. Я пообещал
Отдать без промедленья дочку в школу,
Что и исполнил на другой же день.
У дочки было много дней свободных,
Но и в учебные она тайком
Домой из школы ухитрялась бегать,
И я, отец, был в заговоре с ней.

На следующий год, приехав, тетя
Сказала: «Вот что, больше так нельзя.
Я увезу ее и в Бенаресе
Пристрою в самый лучший пансион.
Спасу племянницу от ласк отцовских».
Уехала Омоли, скрыв обиду.
Зачем я с тетей отпустил ее!
Я в Бандринатх отправился молиться,
Чтоб убежать от самого себя.
Четыре месяца я жил без писем.
Я думал, наша родственная связь
Ослабла там благодаря заботам
Наставников, и отдал дочь в душе
В господни руки с чувством облегченья.

Спустя четыре месяца я сам
Задумал съездить в Бенарес к Омоли.

Но по дороге получил письмо.
Бог взял ее. Мне нечего прибавить.
Я — в комнате Омоли. Предо мной
Ее письмо. Она в нем пишет: «Очень
хочу тебя увидеть...»
Вот и все.

Цветок

На ветке плодового дерева
Ждал цветок тебя, женщина.
Зарею раннюю его обдало твое дыхание.
Он взглянул на тебя всем венчиком
Доверчиво, очарованно.

Он сказал: «С незапамятного времени,
На заре, когда часть зелени еще в темени,
Точно брат и сестра, дружной парюю,
Взявшись за руки, сквозь заросли
К общей цели летели мы.

Всегда вместе в роскошной заброшенности,
Мы — родня с того дня, но вскорости
По какой-то печальной оплошности
Разошлись пути наши в стороны
В нашем земном обиталище.

Сотни раз мы рождались по-новому,
По дубравам лесным, под разными покровами,
Все прекраснее, все благоуханнее,
Кружась по заранее готовому
Кругу существования.

Наконец после стольких превратностей
Поражен нашей новой встречей,
Я все тот же, с той же нежностью братскою,
Как в то время, невозвратно прошедшее,
Ты же овладела речью человеческой.

Но не может разрушиться
Наше тесное единомушие.
Нерушимы узы чувств наших лучшие.
Музыкой звучит их созвучие.
Если вслушаться.

Говорит оно каждую нотую:
«Я растенье, цель моя — цветение.
Глаз ласкать красотой в мое рожденье сотое
Остается, как встарь, моей заботою,
А любить — твое предназначенье».

Люди трудятся

По потоку ленивого времени
Устремляется ум мой в пространство.
По дороге везде и везде меня
Ждут виденья былого тиранства.

Лили кровь, силы попусту тратили,
Сея гибель и смерть где придется,
Победители, завоеватели,
Предводители орд, полководцы.

Шли афганцы отрядами конными.
В колесницах, колонной тяжелой,

Под развернутыми знаменами
Приходили, вторгались монголы.

Где их полчища победоносные?
Где их слава, где завоеваньё?
Где следы на дороге колесные,
По пыли, в придорожном бурьяне?

Но цела и румянится заново
Каждый день синева небосвода
Свежей краской восхода багряного
И багряною краской захода.

В даль железных дорог, на чудовищах,
Изрыгающих трубами пламя,
Нам печальную участь готовящих,
Англичане являлись пред нами.

Чту их прошлую силу могучую,
Но сотрет ее след в той же мере
Время, с верною помощью случая,
И отбросит, как сети империй.

Наряду с пережитками глупыми,
Сверх тупого бряцанья оружием,
Мы народ в одиночку и группами
В отдаленье веков обнаружим.

Он не ведает лени и трудится
День и ночь, из эпохи в эпоху.
Слава труженикам! Не забудется
Их страда до последнего вздоха.

Люди пашут и сеют, любят
Делом рук, гнут за жатвою спину.
С общей помощью их мне рисуется
Вот такая в грядущем картина.

Упразднят триумфаторов статуи,
Арки, шлемы, солдатские каски.
Белью войн, стариной бесноватую
Будут заняты детские сказки.

Не в ходу будут битвы, баталии.
Но за труд добровольцев в Бомбее,
В Гуджерате, в Пенджабе, в Бенгалии
Люди примутся, сил не жалея.

Соберутся с рабочей хваткою
Люди вместе, в грядущее веря,
Привлеченные зданья закладкою
На развалинах древних империй.

Вопрос

Всевышний, веками ты слал нам своих апостолов
С их предтечами.
Они учили: «Милосердие вас создало.
Прощайте. Терпите. Не поддавайтесь бессердечию».

Достойны удивления добра провозвестники.
Но что делать с испорченностью нашею?
Наше время истину спускает с лестницы,
Справедливость гонит взашей.

Я видел, — юноша, с горя впавший в помешательство,
Бился головой о мостовую бульжную.
Печальное обстоятельство.
Молча наблюдала толпа неподвижная.

Вот вопрос тебе, господи, прости меня:
Святотатцев, богоненавистников,
Расоптавших славу твоего имени,
Ты простил бы, любил бы их, воистину?

Распахни дверь

Распахивай дверь поскорее заре,
Впусти в нее запах цветущего сада.
Увидев, что солнце и день на дворе,
Как тело с душою нам радо!

Я жив! Это ветром мне подтверждено,
Шумящим так громко в листве и посеве.
Заря, красным шарфом махнувши в окно,
Мой ум ослепляет и застит деревья.

Любовь я изведал и силы знаток,
Волненьем колеблющей листвы сегодня.
В растущего чувства бегущий поток
Бросаюсь, быть может, еще сумасбродней.

Мы истину, явную в шуме листвы,
Со всем человечеством делим,
Как миру всему на груди синевы
Сверкает заря ожерельем.

Драгоценная пыль земли

Прекрасна подлунная, и недра в горах,
И почвы земной изобилье.
Прекрасна земля, — я падаю в прах
Перед земною пылью.

Прекрасен материи тайный состав
И участь земного тлена:
Распавшись на части и тайною став,
Смешаться со всею вселенной.

Я счастлив и рад, что от жизни былой
Останется главная истина в силе:
Я вечностью стану, я стану землей,
Земной драгоценною пылью.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-----------------------	---

ИЗ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ

Вильям Шекспир

Сонет 66	25
Сонет 73	25
Зима	26
Музыка	27

Уолтер Ралей

Сыну	28
----------------	----

Джордж Гордон Байрон

Стансы к Августе	29
----------------------------	----

Джон Китс

Из «Эндимиона»	31
Ода к осени	32
Кузнечик и сверчок	33
Море	33

Перси Биши Шелли

Индийская серенада	35
К...	36
Строки	36
Ода западному ветру	38

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

Поль Верлен

Ночное зрелище	41
Так как брезжит день	41
Зелень	43
Искусство поэзии	43
Томление	45
Средь необозримо унылой равнины	45
Хандра	46

ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ

Иоганн Вольфганг Гёте

Миньона	48
Арфист	50
Вечерняя песня охотника	51
Фульский король	52
Ученик чародея	53
Гретхен за прялкой	56

Иоганнес Р. Бехер

Лес	59
Лютер	61

Георг Гейм

Призрак войны	71
-------------------------	----

Франц Верфель	
Читателю	73

Якоб ван Ходдис	
Небесная змея	75

ИЗ АВСТРИЙСКИХ ПОЭТОВ

Райнер Мариа Рильке	
За книгой	77
Созерцание	78
По одной подруге реквием	79
Реквием	89

ИЗ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

Юлиуш Словацкий	
«Кулиг»	94
Песнь литовского легиона	98

Болеслав Лесьмян	
Сестре	102

Владислав Броневский	
Я и стихи	105

ИЗ ЧЕШСКИХ ПОЭТОВ

Витезслав Незвал	
Судьба, о судьбина!	107
Без названия	108
Над Свраткою-рекой	108

Ондра Лысогорский

Хранитель жизни	110
Превращенье	111
Грушевские пруды	111
Зеленой рынок в Остраве	112
Венецианские мосты	112
Радиорупор	113
Комната в Ташкенте	114

ИЗ ВЕНГЕРСКИХ ПОЭТОВ

Шандор Петефи

Дворянин	115
Побывка у своих	115
Моя любовь	118
Старый добрый трактирщик	118
Развалины корчмы	120
Ночь звездная, ночь светло-голубая	123
Скинь, пастух, овчину...	124
Цветы	124
Звездное небо	126
В конце сентября	127
Степь зимой	128
В горах	130
Осень вновь...	132
В конце года	133

ИЗ ИСПАНСКИХ ПОЭТОВ

Рафаэль Альберти

Федерико Гарсиа Лорке	136
Нет его, морюшка-моря	136
Дочь булочницы	137

Летняя моя матроска	137
Если голос умрет мой на суше	138
Сан Рафаэль	138
Песня уличного торговца	139
Башня Иснахар	140
Эль Пардо	140
Крестьяне	141

ИЗ ИНДИЙСКИХ ПОЭТОВ

Рабиндранат Тагор

Та, которую я любил	142
Последнее письмо	143
Цветок	146
Люди трудятся	147
Вопрос	149
Распахни дверь	150
Драгоценная пыль земли	151

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Художественный редактор *А. Купцов*
Технический редактор *Н. Бульдяев*

Сдано в производство 8/IV 1966 г.
Подписано к печати 12/V 1966 г.
Бумага 70X108^{1/32}= 2½ бум. л. 7 печ. л.
Уч.-изд. л. 5,43. Изд. № 12/5973.
Цена 34 коп. Заказ N5 184

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Московская типография № 20
Главполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, 1-й Рижский пер., 2

